

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

РОМАН

Глава четырнадцатая ВЕСЁЛЫЙ ПРОХОДИМЕЦ

Сокрушительно разгромили немцев под Сталинградом, освободили от блокады Ленинград, отняли у проклятого врага Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, вышли к Азовскому морю и отвоевали небольшую полосу черноморского побережья. Можно было на какое-то время спокойнее вздохнуть. На берегах Волги мерзкая коричневая рептилия получила такой удар, что все передние зубы вылетели!

После тяжелейших схваток зимы и весны оба титана — Германия и СССР — не имели сил продолжать борьбу в полной мере, сосредотачивались, готовились к решающим сражениям. Война уже двинулась с востока на запад, но варвары ещё оставались сильны и намеревались вновь переломить ход событий в свою сторону.

С февраля по июнь на Ближней даче царила приятная уху тишина, по непонятной причине ворон не стало, тулка и винчестер отдыхали, синяк от приклада на правом плече у главного советского истребителя ворон исчез, растворился. Но наступило лето, и вновь: “Кар! карр!! каррр!!!” Эх, шени траки лапораки, где там мои патроны?

В начале июля окончилась оперативная пауза, и началась третья великая битва Великой Отечественной войны — сражение на Курской дуге. И снова — тревоги, волнения, ежедневные совещания в Кремле, стояния перед просторной картой боевых действий, как перед огромной иконой: Господи, спаси и сохрани! В день Петра и Павла состоялась кульминационное танковое сражение под Прохоровкой, подобное Бородинской битве. Ценой огромных потерь наши танки остановили стремительное наступление немецких панцеров, и дальше стало ясно, что исход сражения предрешён, а во второй половине июля наши армии под командованием Жукова, Ватутина, Катюкова, Рокоссовского, Конева и других славных полководцев перешли в контрнаступление, погнали незваных гостей с курской, орловской и белгородской земли.

Продолжение. Начало см. в №1 и 2 за 2023 год.

24 июля член ГКО Ворошилов, начальник Оперативного управления Генштаба Антонов и его заместитель Штеменко в кремлёвском кабинете Сталина рапортовали Верховному главнокомандующему об окончательном переломе битвы в пользу Красной армии, полностью вышедшей к первоначальным позициям, с которых под натиском наступающего врага пришлось отступить в начале месяца.

— Сегодня продвинулись ещё на пять километров и овладели Змиёвкой, важной железнодорожной станцией в пятидесяти километрах от Орла, — докладывал генерал Антонов. — В ближайшее время начнётся решительное наступление на Орёл и Белгород.

— Значит, наш крокодил снова получил с зубам? — улыбнулся Сталин.

— Получил, товарищ Верховный главнокомандующий, — с полной серьёзностью ответил Антонов.

Иосиф Виссарионович почувствовал сильное внутреннее облегчение и с неизъяснимым удовольствием стал раскуривать трубку. Ему захотелось повести всех в Зимний сад смотреть какое-нибудь смешное кино, в котором не было бы ни намёка на войну и человеческие страдания. Позвать Сетанку и Ваську Красного, выпить и закусить... Но Василий находился там, где продолжалась третья по счёту главная битва войны, воевал под Курском в составе 193-го истребительного авиационного полка, и доставить его срочно в Кремль просто невозможно. А Светлана...

Когда Каплера арестовывали, он держался с достоинством и даже произнёс фразу из собственного сценария к одному из боевых киноборников:

— Не изобретены ещё бомбы, которые могли бы этому помешать. Любовь есть любовь, товарищи!

В тот же день, когда Люсю взяли под белые ручки и увезли в Воркуту, отец пришёл к дочери:

— Где? Где у тебя всё это? Где у тебя письма от твоего этого... писателя? Мне всё известно, все твои телефонные разговоры у меня тут. — И он похлопал себя по нагрудному карману кителя, будто стоит ему этот карман распахнуть, и из него польются голоса телефонных бесед двух влюблённых. — Давай сюда письма! Твой Каплер — британский шпион. Он арестован.

Дочь покорно достала из ящика своего письменного стола письма и фотографии, подписанные Люсей, а заодно его записные книжки, наброски рассказов, сценарий фильма о Шостаковиче. Всё это он передал ей, опасаясь ареста. Светлана протянула отцу внушительную стопку бумаг, гордо выпрямилась и с вызовом произнесла:

— А я люблю его!

— Любишь?! — воскликнул отец и наградил её за любовь двумя звонкими пощёчинами, чего никогда доселе себе не позволял. Да и поводов не предоставлялось. Сам же тотчас смутился и повернулся к Бычковой, неизменной и верной няне Светланы: — Только подумайте, Александра Андреевна, до чего она дошла! Идёт такая война, а она занимается... — Вдруг с его уст, никогда не осквернявшихся матерщиной, слетело грубое слово.

Бычкова испугалась так, что, отмахиваясь от страшной этой сцены своей пухлой рукой, только и бормотала:

— Нет, нет, нет...

— Какое ещё “нет, нет, нет”, если я про неё всё знаю! — Он снова обратился к дочери: — Глянь на себя в зеркало, дура! Думаешь, ты ему нужна? Да он просто поспорил со своими дружками, что с дочкой Сталина заведёт шуры-муры. А у него кругом бабы, и сплошь красавицы. За ним следили. Когда вы с ним долго не виделись, он, знаешь ли, даром время не терял.

И разгневанный отец ушёл из комнаты дочери читать всё, что она ему передала. Она же ушла в школу, а когда вернулась, няня сказала, чтобы она зашла к отцу в столовую. Там она увидела, как отец рвёт переданные ему ею бумаги и по-прежнему гневается:

— Писатель! Не умеет толком по-русски писать! Ты что, не могла себе русского найти? А не этого избалованного сыночка купца первой гильдии, киевского богатея.

Она молча вышла из столовой, и до самого лета они не встречались. Летом Светлана Сталина с отличием окончила школу и пришла к отцу с просьбой разрешить ей поступать в Литературный институт.

Этот московский вуз появился в начале тридцатых по инициативе Горького. Алексей Максимович направил Сталину план работы, и Иосиф Виссарионович его утвердил, считая такое учебное заведение вполне полезным. Но только не для своей дочери:

— Хочешь тоже писательницей быть? Как этот твой Люсёк? Лично позвоню директору и скажу, чтоб от Светланы Сталиной документы не принимать. Хочешь заниматься литературой, поступаай на филфак университета. Глядишь, умнее станешь. Иди, не мешай мне, это у вас там шуры-муры, а у меня, знаешь ли, война.

Нет, звать её сейчас нельзя. Характер у Сетанки сталинский, ответит что-нибудь типа: “Это у вас там киношка, а я в университет поступаю, к экзаменам готовлюсь”. И Ворошилова с генералами тащить в Зимний сад неохота, поеду-ка я на Ближнюю, позову Ганьшина, приглашу Валечку.

И вскоре Палосич отвёз Хозяина в Вольтинское, где Истомина принялась готовить его любимые диетические котлетки, а в ожидании их и приезда киномеханика Сталин попросил пару бананов из целого ящика, присланного Рувельтом и доставленного специально для него через Мурманск. Обитатель дачи в Вольтинском очень любил бананы, причём особенно как раз такие, какие доставлялись в СССР, — незрелые, чтобы полежали и дошли до кондиции. Он же предпочитал не дожидаться их зрелости, ел зелёными, слегка вяжущими. Под стать бананам и пластинку на иглу посадил — “В бананово-лимонном Сингапуре” Вертинского.

Сталин терпеть не мог слюняво кривляющуюся буржуазную дореволюционную эстраду, процветавшую и при нэпе, но, как ни странно, Вертинский ему нравился, хотя и ярчайший представитель той самой упаднической культуры декадентов. Слушать записи Пьеро в СССР не запрещалось, но считалось предосудительным и подозрительным, а в фонотеке Вождя Народов имелось несколько пластинок, выпущенных американской фирмой грамзаписи “Коламбия Рекордс”.

В этом году после разгрома немцев под Сталинградом живущий в Шанхае Вертинский прислал на имя Молотова письмо с очередной просьбой разрешить ему вернуться в Россию, чтобы по мере сил участвовать в жизни воюющей Родины: “Жить вдали от Родины в момент, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь, — самое ужасное!” Молотов принёс письмо Сталину, и Иосиф Виссарионович сказал:

— Зачем же мы будем мучить хорошего человека? Он против Советской власти никогда не выступал. Пусть возвращается.

И теперь Александр Николаевич с нетерпением собирался домой, но до ноября не мог приехать, спутанный по рукам и ногам контрактами на исполнение концертов. А на Ближней даче главный меломан страны слушал, как “когда у вас на сердце тишина, вы, брови тёмно-синие нахмутив, тоскуете одна”. И он тоже тосковал. По ушедшей юности. По убившей себя Татьяне. По угасшим соратникам. По Сетанке и Ваське Красном.

Вскоре Валечка подала ему ужин, он выпил пару бокалов “цинандали”, а тут и Ганьшин приехал.

— О, наш фокусник! — радостно, как родного, встретил его главный зритель. — Отужинать с нами. Никаких разговоров! Сегодня у меня хороший день. Крокодила снова бьём и по зубам, и по носу. Вышли на изначальную линию обороны. Наступаем на Орёл и Белгород. Так что не откажись и от стаканчика винца из виноградников Чавчавадзе. Среди которых когда-то родилась несчастная жена Грибоедова. Александра Сергеевича. Твоего полного тёзки.

Валечка сгоняла на кухню и принесла большую тарелку тушёного мяса с вкуснейшей подливой на черносливе, и они уселись ужинать втроем — сапожник, кухарка и фокусник.

— Я привёз новую фильму Протазанова, — говорил фокусник. — Иван Григорьевич очень просил посмотреть и высказать своё мнение, потому что её хотят запретить к прокату.

— Кто хочет запретить? Этот составитель краткой биографии Сталина? — спросил сапожник. — Этот философ Молокососов, который никак не допишет свою “Историю европейской философии”?

— Он самый, — кивнул фокусник.

— И почему этот Агитпроп считает себя всеильным и всеведущим? Как ты думаешь, Валентина Васильевна?

— Я? — удивилась кухарка вопросу, заданному почему-то ей. — Я вообще раньше думала, что не Агитпроп, а Агитпоп. Недоумевала, что это за Агитпоп такой, за Бога, что ли, агитирует? Тогда почему он в почёте?

— Вот ты вечно как-нибудь, да насмешишь! — от души засмеялся сапожник. — Слыхали её? Агитпоп! Я этого Гошку Александрова так теперь и стану звать Агитпопом. Уж больно благочестив, всюду крамолу видит. Точь-в-точь, как тот котёночек, который до Большакова кино возглавлял.

— Он написал Щербакову докладную записку о том, что новая фильма Протазанова вредна, потому что является самой слабой картиной из выпущенных комитетом по кино в текущем году.

— Неужто Протазанов мог снять плохую фильму? — удивился главный зритель. — Ведь это очень большой кинодел. Один из немногих, кто стоял у истоков русского кинематографа. И он сумел преодолеть барьер, который большинство не преодолели, — переход от немого кино к звуковому. Яков Протазанов — корифей нашего киноискусства. А ваш Агитпоп — щенок. Я смотрел все протазановские фильмы, начиная с “Песни каторжанина”. “Как хороши, как свежи были розы”, “Ключи счастья”. А “Драма у телефона”, а “Дьявол”! Он ещё до революции “Войну и мир” ставил. “Бесов” Достоевского экранизировал. А какая у него была “Пиковая дама” — пальчики оближешь! А уж “Отец Сергей” — просто шедевр немого кино. Даже зная текст Толстого, гадаешь, для чего он топор схватил. Убьёт, что ли, коротку? Нет, он сам себе палец оттяпал.

— Это ещё зачем? — поинтересовалась кухарка.

— А я тебе, Валентина Васильевна, между прочим, советовал прочитать эту повесть Льва Толстого. Одна из наилучших его вещей, — с укоризной произнёс сапожник.

— Не гневайся, государь-батюшка, прочту непременно, — виновато поджала губки Истомина. — Зато я медовые улитки с маком напекла вам, как вы любите.

— О, неси их немедленно, к “цинандали” как нельзя лучше подходят, — приказал сапожник, и куда кухарка бегала за его любимой слоёной выпечкой в виде улиток, он продолжил экскурс в творчество одного из отцов-основателей русского кинематографа: — После революции Протазанов бежал в эмиграшку, помыкался там во Франции и Германии, да и вернулся. Тут он и впрямь слабую фильму сделал. “Аэлиту” по Алексею Толстому. Ну, как говорится, и на старуху бывает проруха. Зато потом, что ни фильма, то успех. “Закройщик из Торжка”, “Процесс о трёх миллионах”. Что там ещё? “Сорок первый” — сильная фильма. “Человек из ресторана”, если бы не слабая игра Михаила Чехова, была бы хорошая картина. Ну и, конечно, “Праздник святого Йоргена”. Великолленно!

— А “Бесприданница”?

— О, что это я! “Бесприданница” по Островскому. Пожалуй, одна из лучших экранизаций русской классики. Каков там Паратов! В исполнении Кторов. И Лариса такая яркая.

— Нина Алисова.

— Смешно они там на корабле бузотёрили, — вставила свою реплику кухарка, принеся слегка подогретые улитки. — Ну, эти, Робинзон и второй придурок.

— Вот только Карандышев уж слишком противный, — заметил фокусник. — Грубый режиссёрский приём. Сразу настраивает зрителя против него. Надо было, чтобы он был показан симпатичным, хотя и невзрачным человеком. Ну, чтобы хоть немного нравился Ларисе.

— Это верно, — согласился сапожник, с удовольствием уплетая медово-маковую улитку и запивая её белым вином из Цинандали. — К сожалению,

многие киноделы никак не могут избавиться от штампов. Если герой положительный, то обязательно мужественный красавец. А если отрицательный, так непременно урод. У нас сейчас немцев показывают полными придурками, а они, между прочим, дошли до Москвы, а потом — до Волги. А мы ещё неизвестно, когда дошагаем до Берлина.

— Может, в следующем году хотя бы, — вздохнула кухарка.

— Не вздыхай, душа моя, вернётся твой Ванька, — похлопал её по коленке сапожник.

— Он у меня непотопляемый, — ответила она и засмеялась. — А мне-то можно с вами нынче кино посмотреть?

— И нынче, и нонче, и нонеча, — ответил сапожник.

Но поначалу, когда ожил экран, она разочарованно проворчала:

— У-у-у, какую ветхозаветную фильму привёз Александр Сергеевич!

— А что это? — удивился сапожник.

— Вы сказали, что всего Протазанова пересмотрели, — ответил фокусник. — А это едва ли видели. Эту картину до революции запретили по требованию вдовы Толстого, она потом так и пролежала. Чудом, что сохранилась. Я её случайно откопал среди всякого броса. Не пожалеете, что посмотрели.

И они стали смотреть “Уход великого старца”, получасовую ленту, снятую Протазановым спустя два года после смерти Льва Толстого. Вроде бы и о Толстом в его последний год жизни, но уже со второй сцены поваяло карикатурой, когда крестьяне пришли просить уступить им немного земли, и Софья Андреевна говорит лакею: “Гони вон!” — а Лев Николаевич выходит к крестьянам и жалуется, что рад бы уступить, да жена всё взяла в свои руки: “Не хозяин я. Вся земля принадлежит графине”. Крестьяне ему суют собранные деньги, он забирает и уходит, слыша, как мужички между собой смеются: “Когда просят уступки, так не хозяин, а когда деньги дают — берёт”. А уж в следующей сцене, когда Толстой приходит к жене и бьётся перед ней в истерику, окончательно становится ясно, что это сатира на Льва Николаевича. И понятно, почему Софья-то Андреевна потребовала запретить прокат картины: ещё бы, такая карикатура! Вот только странно, что автор сценария Исаак Тенеромо, ведь он же был ярый толстовец.

— А это, что ли, настоящий Лев Толстой? — спросила Валечка.

— Ну, нет, — ответил со смехом Ганьшин. — Настоящий к тому времени уже два года лежал в могиле. Это актёр так хорошо загримирован, что не отличишь.

— Нос, небось, из теста слепили! — рассмеялась хохотушка.

— Вполне возможно, — согласился фокусник.

— И Софья Андреевна хороша, полнейшее сходство, — усмехнулся главный зритель.

— Что, такая же мымра? — прыснула кухарка.

— Увы, — кивнул фокусник.

Продолжая смотреть, Сталин всё больше восхищался тем, как тонко всё сделано, одновременно и смешно, и нелепо, но не прямо тебе в лоб комедия, а как будто бы так нечаянно получилось, хотели снять биографическую драму, а вышло забавное глумление. Главный зритель и сам не любил толстовское поведение последних лет жизни, угадывал в нём саморекламу. Даже была брошюрка, сборник анекдотов про Льва Николаевича. К примеру, как он сидит за обеденным столом, борода лопатой, косоворотка, мужицкие портки, а официант ему подаёт во фраке и белоснежных перчатках. Постой, постой, а не Тенеромо ли был тем самым собирателем анекдотов о своём мире? Кажется, он.

Толстой разрешает бедной вдове с ребёночком собирать в лесу хворост, но нанятый Софьей Андреевной горец ловит их и стегает нагайкой. Лев Николаевич переживает так сильно, что совершает попытку повеситься, пишет предсмертную записку. Трагедия, а воспринимается как фарс! К нему является образ сестры, монахини Марии Николаевны, умоляет не брать грех на душу, потом приходит дочь Сашенька, и самоубийство предотвращено.

Ах, если бы кто-то так же предотвратил другое самоубийство в том роковом ноябре! — кольнуло главного зрителя. Так нет же, увы, в его жизни трагедия не превратилась в фарс.

Невыносимо смешно играет роль Толстого актёр Шатерников. Запрокинет голову назад и сокрушённо опрокинет её на грудь, изображая душевные муки “зеркала русской революции”, как нелепо назвал Толстого Ленин. Если и зеркало, то кривое, как в комнатах смеха.

И вот Льва Николаевича хорошенечко одевают, чтобы не замёрз, и он тайком уезжает из Ясной Поляны. Графиня узнаёт о его бегстве, и тут происходит самая смешная кульминационная сцена картины: Софья Андреевна во всю прыть ешет топиться. И титр: “Графиня с переменившимся лицом бежит к пруду”. Но, не добежав одного шага до воды, она падает, якобы в обморок.

И вновь сквозь смех его укололо: ах, если бы все самоубийцы падали в обморок в шаге от самоубийства, не успевали бы выброситься из окна, нырнуть в петлю, выстрелить из пистолета системы “вальтер”!

Очень смешно показаны мечты Толстого, приехавшего к сестре в Шамординский монастырь, о том, как он учит в школе сельских ребятешек. А потом... Ха-ха-ха! Как он сделался сапожником и починает сапог почтенному человеку, от которого получает в качестве оплаты буханку чёрного хлеба.

— Да мы с Толстым, оказывается, духовные братья! — воскликнул главный зритель и рассмеялся.

Сегодня был один из лучших вечеров в его жизни. Если бы только не занозы, напоминающие о страшной утрате десятилетней давности. В остальном он пребывал в самом благодушном настроении. С немцем разобрались, Орёл, Харьков и Белгород в очереди на освобождение. Еда и вино сегодня на редкость вкусные. А рядом с ним люди, с которыми ему необыкновенно приятно, легко и свободно, как ни с кем другим. Потому что они не требуют от него ничего, кроме общения, не ждут Сталинских премий, повышения в должности и уж тем более не вынашивают тайных планов отобрать у него власть.

Толстой продолжал беседовать с сестрой и теперь в мечтах видел себя добрым пастырем среди мирно пасущихся коров. Очень смешно стал показывать, что написал много крамолы, и Христос уже не примет его к Себе, в Свои заоблачные пастбища. Появилась Сашенька, и он уехал из монастыря. В финале он умирает на станции Астапово: “Вот и конец. И ничего!” На небесах его лично встречает Спаситель, прощает за всё, заключает в Свои объятия, и они оба растворяются, исчезают, на небе — одни облака. Конец.

— Хо-хо! — воскликнул главный зритель. — Эту фильму бы так и так не пропустили. До революции запрещалось показывать священников и царских особ, а уж Христа и подавно.

— Протазанов мог бы убрать конец, — возразил фокусник. — Но картина вообще никому не понравилась. Церкви — потому что Христос прощает того, кого она предала анафеме. А уж толстовцам — потому что карикатура.

— А мне понравилось, — сказал Сталин. — Остроумно. Толстой высмеивается? Да он сам себя в конце жизни сделал мишенью для сатиры. И только общественное мнение, которое было целиком на его стороне, мешало показать его в смешном виде.

— Жена его очень смешно показана, даже я смеялась, — заметила Истомина.

— Даже ты? — усмеялся Хозяин. — Скажи на милость. Даже наша царевна Несмеяна смеялась. Да, графинюшка очень смешная. Старуха актриса замечательно её изобразила. Кто такая?

— Представьте себе, что вовсе не старуха, — удивил Ганьшин. — Ей и тридцати не было в этой роли. Англичанка Мюриэль Хардинг, в России взяла себе псевдоним Ольга Петрова, потом уехала в Америку, а псевдоним так за собой и сохранила.

— Да не может быть! — не поверила кухарка. — Там же старуха точнёнхья.

— Чудеса грима, — пожал плечами фокусник.

— Да, чудеса, и только, — согласился сапожник.

Вдруг он задумался и спросил:

— А зачем ты, Александр Сергеевич, привёз эту фильму? Уж не думаешь ли намекнуть мне, что пора тоже совершить уход?

— Боже упаси! — испугался Ганьшин. — Я просто хотел показать, как в своей ранней работе Протазанов проявил незаурядное остроумие и смелость. Бросил вызов общественному мнению. И вообще, эту фильму никто не видел, только мы трое.

— Никто не видел, говоришь? — Сталин в упор посмотрел на Ганьшина. — Как бы не так. У Ильфа и Петрова есть роман “Золотой телёнок”, там жулик Остап Бендер запугивает подпольного миллионера Корейко непонятными телеграммами. Психологически правильный ход. Как бы артподготовка. Вносит в душу своей жертвы смятение. И вот одна из телеграмм звучит так: “Графиня изменившимся лицом бежит пруду”. Точь-в-точь, как в фильме Протазанова. Стало быть, они видели фильму.

— М-да, интересно... — удивился фокусник.

— А у них нельзя разве спросить? — предложила кухарка.

— Можнo, — ответил сапожник. — Но для этого надо умереть и попасть на тот свет. Ильф умер от туберкулёза ещё перед войной, а Петров погиб в прошлом году, разбился на самолёте, возвращаясь из горящего Севастополя в Москву.

— Жалко, — вздохнула Валечка. — И вообще, всех жалко. Гибнут.

— Гибнут, — глухо отозвался Иосиф Виссарионович. — Но ведь побеждают! Товарищ фокусник, что там наш Агитпоп решил зарезать?

— Про Ходжу Насреддина.

— О! — оживился Сталин. — Любимый персонаж Гурджиева. Слышали о таком? Судя по молчанию, нет. Философ-чудак. Проходимец, конечно. И болтун, каких свет не видывал. Полугрек, полуармянин. Шалопай и повеса. Но на Западе, где он живёт в эмигрантских, его многие почитают. Говорят, даже Гитлер уважает этого трепача. Я читал. Болтовни и самолюбования — море. Но кое-какие мыслишки мне запали в душу, я даже кое-что использовал для себя. Включайте вашего “Насреддина”.

И они стали смотреть новую картину выдающегося режиссёра Протазанова. Роль весёлого проходимца Насреддина исполнял Лев Свердлин, недавно хорошо сыгравший Сухэ-Батора в фильме у неразлучных Хейфица и Зархи. И хотя Сталин представлял себе Насреддина другим, Свердлин ему тоже приглянулся, и с середины картины следом за кухаркой сапожник тоже простодушно смеялся. Давно он не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. В финале, спасшись от смерти, Насреддин уезжает из Бухары с красавицей Гюльджан, предназначенной в гарем к эмиру бухарскому, а ставшей женой весёлого проходимца, защитника бедных и посрамителя нечестивых богатей.

— Как же хорошо! — счастливо вздохнула Истомина.

— Да, очень хорошая фильма, — согласился главный зритель. — И полезная, и своевременная. Нашему народу надо посмеяться. И поволноваться. И облегчённо вздохнуть в конце: “Как же хорошо!” И хорошие слова произносит Насреддин: “Пусть никогда не нависают над вами чёрные крылья беды”. Кстати, что-то и вороны не появляются у нас тут.

— Да как же? Давечась обратно каркали! — возразила кухарка.

— Что ты говоришь? Ономясь да растудить? — засмеялся Сталин. В своё время основательно выучив русский язык, он терпеть не мог, когда кто-то говорил неправильно, и незабвенная Татка брезгливо относилась к тем, кто не соблюдал правила произношения. Но удивительное дело: Валечке он прощал “обратно” вместо “опять”, “пошлите” вместо “пойдёмте”, “тубаретку”, “отсюдова”, “вылазевать”, неправильные ударения на “и” в слове “стирать”, на “ы” в слове “ножницы”, на “у” в слове “дотронуться”... Однажды он со смехом сказал ей:

— Валечка, нет слова “ложить”, надо говорить “класть”.

Так она, зараза такая, залезла в словарь Даля и указала ему: “Ложить (также лагать) — класть, укладывать”.

— Значит, у вас нет, а у Даля есть?

— Сдаюсь! — развёл он руками. И с тех пор только посмеивался, услышав её очередное нарушение норм русского языка.

— Стало быть, завтра пойду добивать ворон на Курской дуге, — сказал Хозяин, предвкушая очередную бойню с наглými крылатыми гитлерами. — Александр Сергеевич, наберите мне Большакова. Час ночи? Ничего, пусть проснётся.

Ганьшин набрал номер председателя кино.

— Иван Григорьевич, добрый вечер, — сказал главный зритель. — Я тут посмотрел фильму “Насреддин в Бухаре”. Вы какого о ней мнения? Отчего же не возразили на глупые доводы главного Агитпропа? Так вот, передайте Агитпропу, пусть идёт подальше... — Он покосился на Валечку и закончил: — В Европу. А фильму немедленно выпустить на экран. Такое кино сейчас очень нужно народу. Да и как этот Агитпроп смеет замахиваться на самого Протазанова! Безобразия! С добрым утром, товарищ Большаков! — Сапожник повесил трубку и подмигнул фокуснику и кухарке: — Ну, как я его? Будет знать, как бояться Агитпропа. Останется мямлей, я его замену на Ганьшина.

— Да не хочу я, товарищ Сталин! — возмутился фокусник. — Я хочу вам фильмы показывать. А то опять у других будут срывы.

— Это верно. И поговорить с вами всегда приятно. Вы читали роман Соловьёва “Возмутитель спокойствия”?

— Читал. По нему же и эта фильма снята.

— И я читала, — добавила с гордостью Валечка.

— Это хорошо, что наша кухарка приобщилась к литературе, — улыбнулся сапожник. — Ленин в своей статье “Удержат ли большевики государственную власть” намекал на то, что со временем каждая кухарка сможет управлять государством. Валентина Васильевна, тебе сейчас сколько?

— Двадцать восемь, Иосиф Виссарионович.

— Ну вот, к сорока годам я научу тебя управлять государством и назначу генеральным секретарём.

— Вот уж спасибо! Только о том и мечтаю. А кто вам будет паровые котлетки стряпать, голубцы, пирожки?

— А ты тайком, в промежутке между государственными делами. А Ганьшин пусть будет тогда председателем Совнаркома.

— Простите, товарищ Сталин, но мне эта Баратария ни к чему, — решительно отказался фокусник.

— Баратария! — рассмеялась кухарка. — Смешное слово.

— Понятно, — покосился на неё сапожник. — Стало быть, “Дон Кихота” ещё не прочитала. Следующей книгой назначаю Сервантеса “Дон Кихот”. Баратария — это остров, на который в шутку назначили Санчо Пансу губернатором, а он оттуда сбежал.

— Кстати, Насреддин — это Санчо Панса без Дон Кихота, — заметил Ганьшин.

— И Ламме Гудзак без Тиля Уленшпигеля, — добавил Сталин. — И все трое ездили на ослах. Но, в отличие от этих литературных персонажей, по мнению многих учёных, Насреддин реально существовал. А в турецком городе Акшехир даже есть его гробница. Вот только в какую эпоху он жил, разные сведения. Некоторые даже считают, что с ним любил беседовать Тамерлан и разрешал говорить такое, за что другим или отрезал язык, или рубил голову. Однажды они сидели в бане, и Тамерлан спросил: “Как думаешь, сколько я стою в денежном исчислении?” И Насреддин дерзко ответил: “Три таньга. Ровно столько стоит поясok на твоём пузе”. Тамерлан разгневался, а потом засмеялся и снова ему всё простил.

— Да, про него много анекдотов, я читал, — откликнулся Ганьшин. — А ведь он многих обдуривал. Бывает жулик такой, обманет, но сделает это так весело, что все смеются и прощают.

— Кстати, фокусник, ты почему нам до сих пор ни одного фокуса не показал? — вдруг возмутился сапожник. — Хотя бы как тогда, у входа в Большой театр. Просим немедленно!

Ганьшин малость замылся. Потом попросил:

— Разрешите ненадолго до ветру?

Получил разрешение и на пять минут удалился.

— Интересно, умеет ли с той же лихостью? — произнёс сапожник.

Кухарка успела стонать ещё за закусками, вернулась вместе с фокусником. Тот с загадочным видом держал руки за спиной.

— Готовы?

— Ждём с нетерпением! — сказал сапожник.

— Так смотрите и не говорите, что не видели!

Фокусник медленно вытащил руки из-за спины, совершил ими несколько загадочных движений и, взяв со стола бумажную салфетку, скомкал её в шарик и бросил перед собой. Салфеточный шарик стал падать, но вдруг завис в воздухе между растопыренными ладонями фокусника, слегка подскакивая, будто снизу на него кто-то дул. Кухарка даже глянула, нет ли там внизу и впрямь кого-нибудь.

— Ловкость рук и никакого мошенства, — сказал фокусник. — Оп-па! — Он сделал движение, шарик подпрыгнул, и он поймал его.

— Ещё! Ещё! — потребовала кухарка.

— Разрешите поднатореть, — выдохнул фокусник. — Давно не практиковался, надо малость заново освоить профессию.

— Нет! Ещё! — настаивала кухарка, одновременно пытаюсь обнаружить вокруг ладоней фокусника какие-нибудь ниточки.

— Позволим ему, — смиловился сапожник. — Пусть поднатореет до следующего раза. Плохо будет, если осрамится. Садитесь, Александр Сергеевич. Выпьем за нашего фокусника!

Они дружно промочили горло, расселись уютно, и Сталин спросил:

— А какой твой любимый анекдот о Насреддине?

— Про обезьяну. Как Насреддин обдуривал богачей, — ответил фокусник.

— А как именно? — поинтересовалась кухарка.

— Он говорил: “Я могу удвоить твоё состояние за кошелёк с золотом, — ответил вместо фокусника сапожник. — Нужно просто час просидеть в наглухо завязанном мешке. Но одно условие: ни в коем случае нельзя думать про обезьяну”. Состояние, конечно же, не удваивалось, а когда богач требовал вернуть ему кошелёк с золотом, Насреддин ему отвечал: “Но ты же не выполнил главное условие? Про обезьяну думал?”

— А как можно не думать о чём-то, если тебе запретили об этом думать? Я бы только про обезьяну и думала, — засмеялась Истомина.

— И богачам ничего не оставалось делать, как признать, что про обезьяну думали, — раскурил очередную трубку главный курильщик страны.

— А я бы на их месте возразил, — вдруг сказал Ганьшин. — Я бы сказал: “Я думал не про обезьяну, а о том, что нельзя думать про обезьяну. Возвращай, жулик, денежки!”

Сталин задумался. Рассмеялся:

— А ведь и впрямь! Послушай, Александр Сергеевич, почему ты не можешь одновременно и быть председателем кино, и крутить мне фильмы?

— Писателю Карамзину, — ответил Ганьшин, — однажды предложили стать губернатором Твери, а он сказал: “Я тогда и губернатором буду плохим, и писателем стану никудышным”.

— Ничем тебя, фокусник, не возьмёшь! — восхитился Сталин. — Что ещё нам покажешь? Американское есть?

— Есть последняя фильма Капры “Повстречайтесь с Джоном Доу”. Снова с Гэри Купером.

— Отлично, давайте. — В предвкушении новой работы полюбившегося американского режиссёра главный зритель поудобнее уселся в кресле. — Американцы, зная за собой вину, что до сих пор не открыли второй фронт, сильно снизили цену за прокат их картин в СССР. И впервые дали премию “Оскар” советской фильме “Разгром немецких войск под Москвой”.

— А вы знаете, что наши бойцы называют вторым фронтом? — спросил Ганьшин.

— Да, знаю, — махнул Сталин. — Американскую тушёнку.

— А слышали, кто родился от Катюши и Ванюши? — спросила Истомина.

— Этого я не слышал, — признался Хозяин.

— Иван Грозный, — ответила Валечка. — Мне недавно рассказали. Наши реактивные установки называют “катюшами”, а немецкую похожую — “ванюшами”. Наши захватили немецкого “ванюшу”, скрестили его с “катюшей”, и получилась такая шпана, что не приведи Бог. Лупит немцев жутко. Раз — и сразу тыщу человек нету! И прозвали Иваном Грозным.

— Вот это хорошая новость! Как раз сейчас режиссёр Эйзенштейн снимает по моему заказу кино про Ивана Грозного, — обрадовался Сталин. Впрочем, он прекрасно знал о немецкой установке реактивного залпового огня “Небельверфер”, которую наши бойцы прозвали “ванюшей”. А ещё ишаком за то, что при использовании “ванюша” издавал звук, подобный крику осла. Довольно мощные миномёты, но ни в какое сравнение с “катюшами” эти фрицевские “ванюши” не шли. Трофейных “Небельверферов” переделали и полученный гибрид прозвали Иваном Грозным.

Стали смотреть новый фильм Капры, он увлекал почти так же, как “Мистер Дидс”, только здесь режиссёр ещё больше усилил социалистическую идею. Гэри Купер играл примерно такого же, как Дидс, он на глазах вырос из затюканного бродяги в лидера небогатых американцев, опасного для буржуев. В один из кульминационных моментов, когда он встал перед выбором, взять деньги и смыться или идти дальше в своём развитии, когда зритель, затаив дыхание, ждал, что он сделает в следующую минуту, стоя перед микрофонами радио, включёнными на всю Америку, в аппарате щёлкнуло, и показ прекратился.

Главный зритель аж подпрыгнул в своём кресле, глянул на Ганьшина, всё понял и закричал:

— Сапожник! Сапожник! Сапожник! — Он затопал ногами, застучал кулаками по подлокотникам. Но потом спросил: — Фокусник, ты что это, нарочно?

— Ну, а как вы думаете, товарищ Сталин? — лукаво ответил Ганьшин.

— Да вы, я гляжу, тоже тот ещё проходимец, — засмеялся главный зритель. — Ладно, больше так не делайте, одного раза достаточно. Я удовлетворён.

И показ продолжился. До чего же хорошая ночь стояла!

Глава пятнадцатая ТЕГЕРАНСКИЕ СНЫ

В конце ноября и начале декабря температура в Вашингтоне такая же, как в Тегеране, от семи до десяти градусов тепла; но в столице Америки тучи завлакивают небо, и хорошо, если на три дня выпадет один солнечный. А в столице Ирана солнце радуется во все дни, и для инвалида, с трудом передвигающегося по миру, это отдушина, меньше беспокоят боли, можно даже иной раз покинуть коляску и сделать десяток-другой самостоятельных шагов.

Накануне в британском посольстве праздновали день рождения премьер-министра, толстяку Уинстону стукнуло шестьдесят девять, что не обошлось без скабрёзных шуток, да и вообще вчера получился самый лёгкий из всех дней конференции. Если в первые два дня небо над Большой тройкой скрывали свинцовые тучи, то вчера к вечеру они развеялись, и президент Америки перестал чувствовать жгучий стыд перед Сталиным за то, что американцы и англичане уклоняются от настоящей крупной войны с Германией, и России приходится фактически бить Гитлера в одиночестве. К концу праздничного ужина посыпались шутки, переводчики едва поспевали их переводить, умудряясь донести смысл, чтобы всем было смешно. Засиделись до двух часов ночи, после чего дядюшка Джо на своих ногах, одна из которых, кстати, тоже повреждена в далёкой юности, отправился к себе по коридору, который с двух

сторон обнесли высокими фанерными щитами и таким образом, перегородив улицу Нюфел-Лошато, соединили советское и британское посольства. Рузвельта повезли туда же на инвалидной коляске.

Поначалу он отказывался селиться в советском посольстве, но американское располагалось далековато, чуть ли не на окраине иранской столицы, и, в конце концов, тридцать второй президент США согласился принять приглашение фактического монарха России, а премьер-министр Соединённого Королевства сделал вид, что не обиделся. Он только предупредил, что будет прослушка, на что Рузвельт махнул рукой:

— Ну и пусть, я хочу быть услышан.

На всякий случай, куда бы ни приезжал президент Америки, он брал с собой личных поваров филиппинцев, якобы из-за того, что предпочитал филиппинскую кухню. А на самом деле, чтобы чужие чего-нибудь не подсыпали. Ведь любви он итальянскую, французскую, китайскую, японскую, индийскую или арабскую, всегда могли найти специалистов, а вот поваров, готовящих по-филиппински, едва ли быстро отыщут.

Конечно, Англия и Америка — как мать и дочь, но, положив руку на сердце, Рузвельт куда больше симпатизировал Сталину, чем Черчиллю. Ловкий пройдоха сэр Уинстон, разумеется, прав, и надо было добиться того, чтобы Германия и Советский Союз как можно больше измотали и обескровили друг друга без особого участия США и Великобритании. Но Франклин, в отличие от Уинстона, имел совесть и стыдился своей собственной политики, послушной политике Черчилля. Поселившись в советском посольстве, он как бы давал знак Сталину: я больше с тобой, чем с этим бором.

Вернувшись вчера со дня рождения Черчилля, Рузвельт ждал, что Сталин пригласит ещё к себе на кофе с ликёром или что-то типа того, но приглашения не последовало, и он лёг спать. Однако, несмотря на благодушное настроение, в котором он засыпал, ночью Рузвельту приснился страшный сон, преследовавший его всю жизнь: остров Кампобелло у границ с Канадой, после тушения пожара и купания в холодной воде он в мокрой одежде сидит и разбирает почту, как вдруг его охватывает сильный жар, и он уже не чувствует своего тела ниже грудной клетки, а паралич движется дальше и дальше вверх, к самому горлу, начинает его душить...

Именно это случилось двадцать два года назад, после чего врачи поставили диагноз полиомиелит, или, как говорят американцы, просто полио. Цветущий сорокалетний мужчина превратился на весь остаток жизни в инвалида, постоянно лечился, ощущение своих ног то возвращалось, то вновь исчезало. Впрочем, это не помешало ему стать президентом. И не просто президентом, а любимым, можно сказать, народным президентом Америки, переизбраться на второй срок, а затем, чего ещё никогда не бывало в истории США, ещё и на третий, кончающийся в следующем году, но рейтинг его таков, что он и на четвёртый срок будет баллотироваться!

Ощущение кошмарного сна не проходило всю оставшуюся ночь и утром тоже. Он проснулся в десять, в окно светило белое иранское солнце, и лишь теперь Франклин расслабился, вспомнил хороший вчерашний день и откинул от себя ночной ужас.

Первые два дня конференции шла тягомотина вокруг открытия второго фронта, на котором уныло и сердито настаивал Сталин. Рузвельту было стыдно смотреть, как виляет Черчилль, хвастаясь победами в Северной Африке и на юге Италии, коими озаменовался для англичан и американцев срок третий год. Оу, операция “Факел”! Оу, победа при Эль-Аламейне! Вау, взятие Туниса! Вау, капитуляция Италии! Рузвельт краснел, а Сталин с присущим ему особым юмором усмехался:

— Да, это, безусловно, величайшие достижения, учитывая, что против вас в Северной Африке воевали три немецких дивизии, в Италии целых двенадцать, а против нас воюют всего лишь какие-нибудь жалкие триста двадцать дивизий вермахта. Сколько, вы говорите, дивизий планируется высадить во время открытия второго фронта?

— Двадцать.

— О, это и впрямь много! — глумился Сталин над чванливыми союзниками. — Сколько там погибло и ранено немцев при Эль-Аламейне? Около тридцати тысяч? Это, конечно, огромная цифра. У нас под Сталинградом их уничтожено и выведено из строя всего лишь полтора миллиона. — Он угостил Черчилля своими сигарами, сам закурил сигару и спросил: — Вы посмотрели фильмы, которые я прислал вам?

— О да, я посмотрел, — заговорил Черчилль. — В них поразительно показаны все отчаянные сражения. Мы восхищены тем, что русское правительство отнеслось к Паулюсу с величайшим уважением как к видному немецкому военачальнику. Жаль, что менее приятная судьба ожидает бесчисленные вереницы простых немецких военнопленных. Как жалобно они бредут на кадрах фильма по безбрежным снежным просторам под Сталинградом. Присланные вами фильмы замечательно сняты и служат превосходным памятником этому славному эпизоду на Восточном фронте. Надеюсь, мистер Сталин тоже посмотрел наш собственный фильм о битве при Эль-Аламейне “Победа в пустыне”? Он, подобно вашим фильмам, был заснят кинооператорами под ожесточённым огнём и кое-кому стоил жизни. Жертва была принесена не напрасно. Плоды труда этих людей вызывают величайшее восхищение и энтузиазм во всём союзническом мире.

— А раньше вы, помнится, считали кино дешёвой забавой, — напомнил Сталин.

— Я стал по-иному относиться к кино, которое содействует сплочению наших народов во имя общей задачи, — ответил Черчилль.

Тут Сталин повернулся к Рузвельту и заговорил с большим теплом:

— Мне очень нравятся фильмы вашего режиссёра Фрэнка Капры. Жаль, что я не могу выписать ему Сталинскую премию, которая пока ещё не подразумевает награждения иностранцев. Я считаю картину “Мистер Дидс” одной из лучших. Очень хороша и другая его фильма — “Джон Доу”. Она вообще выполнена в духе социалистического реализма. Очень хорош актёр Гэри Купер. У нас есть похожий на него Николай Черкасов. Если когда-нибудь у нас будут съёмки фильма, где будет роль президента Рузвельта, её обязательно исполнит Черкасов. Ну, и особенное вам спасибо за документальную картину Фрэнка Капры “Битва за Россию”. Как у нас говорится, низкий вам поклон! В ближайшее время “Битва за Россию” выйдет в нашем прокате. И ещё позволите выразить глубочайшую благодарность членам американской киноакадемии за то, что удостоили документальную фильму нашего режиссёра Варламова “Разгром немцев под Москвой” премией “Оскар”. Это первый такой случай, и он будет способствовать большему сближению СССР и США. Документальное военное кино — мощное и сильное оружие против врага.

Отвлёкшись ненадолго на кино, Сталин вновь перешёл на вопросы открытия второго фронта, требовал назвать точную дату операции, для которой уже придумали помпезное название “Оверлорд” — “Верховный повелитель”. Рузвельту оно казалось таким же нескромным, как Сталину, но отменить его он уже был не в состоянии.

Первым 28 ноября в Тегеран прибыл советский комиссар иностранных дел Молотов. Рузвельт хорошо знал его, он приезжал в Америку для переговоров и производил впечатление весьма благородного человека, хотя, как известно, происходил далеко не из аристократической среды. Молотов привёл доказательство того, что на Большую тройку готовилось покушение, которое предотвратили советские спецслужбы. Тогда-то Рузвельт и принял решение поселиться в советском посольстве. Несколько раз за эти четыре дня они встречались со Сталиным наедине, могли побеседовать тет-а-тет через советского молоденького переводчика Бережкова и американского Болена. Во время первой встречи Сталин предложил папиросы “Герцеговина Флор”, но Рузвельт отказался, объяснив, что предпочитает один-единственный сорт табака. Сталин мечтал о том, что после войны СССР станет огромным рынком для товаров из Америки. Рузвельт пожаловался на Черчилля, затягивающего с открытием второго фронта. Очень быстро они настолько вошли в доверительные отношения, что президент осмелился спросить:

— Прошу прощения, мистер Сталин, но в Америке ходят слухи, будто Германия через Красный Крест предлагала вам обменять на фельдмаршала Паулоса вашего сына Якова, находящегося в плену у немцев. И говорят, вы ответили, что солдата на фельдмаршала не меняете. Это правда?

— Нет, это красивая выдумка, — ответил Сталин. — До меня она уже тоже доходила. Мой сын Яков не был в плену. Он честно погиб в сражении.

— Вот как?

— Именно так, господин Рузвельт.

— Но ведь были фотографии. Монтаж? Фальшивка?

— Конечно. Например, на одной из фотографий Яков красуется в своей старой куртке. В ней он ходил на охоту или рыбалку. Эта куртка осталась на даче в Зубалово, и как она могла попасть туда, где Яков будто бы сидит с немцами за одним столом? Кто-то выкрал фотографию Якова в старой куртке и переправил немцам. Жена Якова до войны часто ездила лечиться в Германию, у неё там осталось много друзей... И многое другое доказывает, что немцы наврали. Если бы Яков оказался у них в плену, они бы записали его голос на магнитофон и всюду бы пускали по радио. Они бы обязательно засняли его на киноплёнку и тоже использовали бы в своих пропагандистских целях. Почему они так не поступили? От Якова пришло из плена письмо, где он пишет, что вполне здоров и всё такое, но почерковеды и тут разоблачили фальшивку. Так что забудьте про эффектные мифы. Мой сын не попал в плен, а погиб, сражаясь с врагом.

— Мои сыновья тоже воюют, — стыдливо потупился Рузвельт. — К счастью, все они живы. Мы с Элеонорой потеряли только нашего второго сына, но он умер в девятом году в младенчестве. Приношу вам свои глубокие соболезнования.

— Спасибо. Мой второй сын сражается в небе и мстит за погибшего смертью храбрых Якова.

На первом заседании конференции председательствовал американский президент. Он был одет в штатское, Черчилль — в военной форме, Сталин — в маршальской с красными лампасами, на груди — небольшая золотая звёздочка с серпом и молотом. Сталин сразу заявил:

— Мы, русские, считаем, что боевые действия в Средиземном море не имеют никакого значения. Мы, русские, считаем, что второй фронт следует открыть на северном побережье Франции.

Черчилль возразил, что первая задача — взять Рим, оккупированный немцами. Краем глаза Рузвельт заметил, что Сталин красным карандашом рисует на белых листах бумаги волчьи головы. В долгих и нудных переговорах Черчилль пытался сделать всё, чтобы как можно дальше отбросить дату открытия второго фронта или открыть его не в Нормандии, а на Балканах, где значительно безопаснее. Когда зашла речь о том, какую изнурительную борьбу ведут союзники на Тихоокеанском театре военных действий, сражаясь с японскими кораблями, Сталин едко извинился:

— Мы бы, конечно, могли открыть наш второй фронт на Дальнем Востоке, но, к сожалению, если мы оттянем туда наши войска, немцы снова окажутся под Москвой или под Сталинградом. Да, в летней кампании этого года немцы оказались слабее, чем предполагалось, но к осени наше наступление остановилось. Сейчас немцы во что бы то ни стало хотят вернуть себе Киев. Представьте, что будет, если мы начнём войну с Японией, чтобы помочь вам её одолеть.

И Рузвельту вновь приходилось краснеть, поскольку он, как и все, прекрасно понимал, что война идёт в России, а в остальном мире немцы и японцы лишь получают лёгкие уколы. Но все старались делать вид, будто воюют Британия и Америка, а Россия им только слегка помогает. И президент Америки испытывал стыд.

Несколько разрядило обстановку вручение Черчиллем Сталину наградного церемониального меча, изготовленного английскими оружейниками, украшенного драгоценностями, по клинку кислотой вытравлены надписи на русском и английском: "Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля

Георга VI, в знак глубокого восхищения от британского народа”. Когда Черчилль вручил этот шедевр Сталину, тот растрогался, поцеловал ножны и вполголоса поблагодарил. Стал передавать меч стоявшему справа от него Ворошилову, неловко наклонил вниз рукоятью, и меч, выскользнув из ножен, выпал на ковёр. Ворошилов не успел его подхватить, поднял с ковра и передал офицеру почётного караула. Рузвельт попросил показать ему меч и, прочитав надпись, вымолвил:

— Воистину у них были сердца из стали!

Вскоре конференция продолжилась. Сталин спросил, кто будет командовать операцией “Оверлорд”, премьер-министр и президент не могли дать ответа, и он хмуро произнёс:

— Тогда ничего не выйдет. Вы даже не знаете, кто несёт моральную и военную ответственность за выполнение операции! Всё ясно. “Оверлорд” — это опять одни разговоры.

Черчилль тотчас назвал имя английского генерала Моргана, на что Сталин заявил:

— Русские хотели бы скорее узнать, кто именно будет командовать операцией “Оверлорд”. Если сейчас не будет решён вопрос о втором фронте, то и мы не будем проводить никаких наступательных операций в сорок четвёртом году.

Черчилль уводил переговоры от главной проблемы, как трясогузка, изображая из себя раненую, уводит чужаков от гнезда с птенцами. Он навязывал долгие дебаты о Турции, стоит ли её направить против Германии, о Болгарии, которую русские когда-то освободили от турецкого ига, а она теперь предательски на стороне Гитлера, о будущем Румынии и Венгрии.

— Позволю себе прямой вопрос, — перебил Сталин. — Верят ли и впрямь англичане в операцию “Оверлорд”, или они говорят о ней только для того, чтобы успокоить русских?

Черчилль снова вилял, говорил о различных условиях осуществления операции, затем о том, какая судьба ждёт Германию, когда она окажется окончательно поверженной.

— Вся сила могущественных армий Гитлера зависит примерно от пятидесяти тысяч офицеров и специалистов, — ответил Сталин. — Если этих людей после войны арестовать и расстрелять, военная мощь Германии будет уничтожена с корнем.

Черчилля это глубоко возмутило:

— Английский парламент и общественное мнение никогда не потерпят массовых казней. Даже если в период военного возбуждения и будет дозволено начать их, английский парламент и общественное мнение после первой же массовой бойни решительно выступят против тех, кто несёт за это ответственность. Советские представители не должны заблуждаться на этот счёт.

Сталин плотоядно улыбнулся:

— Пятьдесят тысяч должны быть расстреляны. У нас уже подготовлены списки. Такова наша разнарядка.

Черчилль изобразил из себя христианского мученика, готового идти в огонь:

— Я предпочёл бы, чтобы меня тут же вывели в сад при посольстве и самого расстреляли, чем согласиться запятнать свою честь и честь своей страны подобным позором.

Сэр Уинстон уже ездил к Сталину в Москву в августе прошлого года, но так и не раскусил особенностей сталинского сарказма, в отличие от Рузвельта, успешного лишь немного пообщаться с дядюшкой Джо.

— Я со своей стороны предлагаю сократить расстрельный список. Допустим, не пятьдесят тысяч, а всего лишь сорок девять, — сказал президент США.

Тут даже министр иностранных дел Великобритании Иден стал делать знаки Черчиллю, что Сталин шутит, но ни с того ни с сего в дело вмешался сын Рузвельта, тридцатитрёхлетний Эллотт, офицер ВВС США, сопровождавший отца в Тегеран:

— Позвольте мне выразить полное согласие с планом маршала Сталина и свою полную уверенность в том, что американская армия поддержит его. Немцы заслужили такое обращение!

Черчилль взбеленный пуще прежнего, вскочил со своего места и гордо удалился в соседнюю комнату, замер там, как артист, стоя спиной к зрителям. Сталин и Молотов перемигнулись, тоже поднялись со своих мест, подошли к Черчиллю, и Сталин хлопнул того по плечу, а Молотов по руке. Слышно было, как они сказали:

— Да это шутка!

— Не воспринимайте всерьёз.

И переговоры продолжились. Этот русский усатый грузин так по-мужски завладел ходом конференции, что его уже стали побаиваться и слушаться, соглашаться с его требованиями и доводами. В первые два дня Сталин являлся на переговоры позже Черчилля и Рузвельта, и при его появлении оба вставали. Вчера они договорились прийти после него, а если не получится, то хотя бы не вставать. Явились на двадцать минут позже запланированного повесткой конференции часа, его нет. Тотчас он вошёл. Они сидят. Он вдруг так пристально посмотрел на них, что оба не выдержали и встали.

Рузвельт с удивлением чувствовал себя во власти дядюшки Джо. Но при этом не испытывал никакой антипатии к нему, а напротив, рад был бы как можно больше побеседовать с этим удивительным человеком. И вот теперь, проснувшись первого декабря после кошмарного сна, он в буквальном смысле слова мечтал о новой встрече, сожалея, что наступил последний день Большой тройки в Тегеране.

Завтрак накрыли в столовой одной из шести комнат, отведённых советским посольством для американцев. Когда Рузвельт со своим помощником Хопкинсом появился там, за столом уже сидел Черчилль и жевал эмпананду — филиппинскую лепёшку с яйцом и луком, — вот ненасытная утроба!

— Опять мы явились раньше него, — усмехнулся президент.

— Чёрт бы его побрал, — откликнулся премьер-министр.

Сталин появился в сопровождении Молотова, все встали, поздоровались и уселись за столом. Филиппинцы тотчас принялись подавать в качестве закуски пансит — лапшу с креветками и курицей, капустой, стручками фасоли и луком.

— Как спалось, джентльмены? — спросил дядюшка Джо.

— Ужасно, — улыбнулся Черчилль, и сразу стало видно, что он намерен как-то пошутить. — Мне приснился страшный сон. Будто меня назначили премьер-министром всей планеты. Только представьте, какая обуза!

— Да уж, тяжёлая ноша, — кивнул Сталин.

Рузвельт решил развить шутку и заявил:

— Мне тоже кошмар снился. Будто меня назначили президентом всей Вселенной. Это на инвалидной коляске!

Сталин тем временем раскурил трубку, выпустил первое облако дыма и не спеша ответил:

— Могу вас успокоить, джентльмены. Мне тоже приснился сон. Я не утвердил вас.

Бережков с особым удовольствием перевёл, сделав ударение на слово “not”:

— I did not approve you.

Рузвельт и Черчилль переглянулись, президент первым расхохотался, премьер-министр — за ним вслед. Засмеялся и Молотов. А Хопкинс и появившийся Иден не знали, как реагировать. Зато посол США в Москве Гарриман, когда Хопкинс на ухо прожужжал ему перевод, так и прыснул. Тотчас спохватился:

— Простите, господа.

А Черчилль тем временем уже балаболит про семнадцать английских эскадрилий в Египте, которые можно использовать для защиты Турции, про то, что хорошо бы поскорее продвинуть Красную армию в сторону Одессы, про плохо подготовленную к возможной войне против Германии турецкую армию и так далее.

Филиппинцы подали панкитмоло — запеканку из курятины, свинины и грибов. Рузвельту ничего не оставалось делать, как тоже заговорить о вовлечении Турции в войну. Молотов задал более конкретный вопрос об итальянских кораблях, и президент пообещал разделить их поровну. Тут вдруг его пробило такой любовью к России, что он сказал:

— Всё это, господа, мелочь в сравнении с усилиями, которые Россия прилагала и прилагает.

На десерт подали жареные бананы, рисовые пирожные, имбирный чай и кокосовое молоко. После завтрака отправились за стол конференции и заговорили о Польше, о Прибалтике и Восточной Пруссии. Сталин твёрдо настоял и добился общего решения, что Прибалтика, Западная Украина и Западная Белоруссия войдут в состав СССР, причём вместе со Львовом, который Черчилль хотел оттяпать в пользу Польши. Часть Восточной Пруссии войдёт в состав СССР, потому что на Балтике у русских нет незамерзающих портов, а Кёнигсберг как раз незамерзающий.

Разговор перекинулся на Финляндию, премьер-министр принялся её жалеть, мол, Гитлер насильно втянул бедненькую в войну, и надо теперь бескровно её оттуда вывести, но чтобы она не вошла в состав СССР. Мол, финны очень боятся такого поворота и мести русских за участие в блокаде Ленинграда. Сталин поморщился и буркнул что-то типа: на хрена нам эта Финляндия, будь она неладна. Молотов сгладил:

— Финляндия войдёт в состав СССР лишь в том случае, если сама поставит советское правительство принять её. Однако пока что финны даже ни словом не обмолвились о своём желании порвать с Германией.

— Да они вообще не стремятся по-настоящему к серьёзным переговорам, — возмутился Сталин. — Их условия неприемлемы, и финнам это хорошо известно. Финны всё ещё влюблены в фашистскую Германию и надеются на её победу. По крайней мере, некоторые из них твёрдо верят, что немцы одержат победу.

Дискуссия о судьбе бедненькой страны Суоми с подачи Черчилля затянулась: надо ли финской делегации приехать в Москву, насколько сильны претензии СССР к Финляндии, ведь если взыскать с финнов весь ущерб, нанесённый ими, то у них никаких денег не хватит.

— Деньги нам с этой паршивой овцы не нужны, — сказал Сталин. — Но в течение пяти или даже восьми лет пусть поставляют нам бесплатно бумагу, древесину и другие товары. Они должны получить урок, и мы любыми способами потребуем от них компенсации.

— Бедная, бедная Финляндия! — воскликнул Черчилль. — Я был на её стороне, когда вы напали на неё в сороковом году. Перейдя на сторону Гитлера, финны, конечно, скомпрометировали себя, но у меня в ушах всё ещё звучит знаменитый лозунг: “Никаких аннексий и контрибуций!” Может быть, маршалу Сталину не понравится, что я говорю это.

Сталин широко улыбнулся и ответил:

— Я же сказал вам, что становлюсь консерватором. Кстати, у меня есть фильм и о советско-финской войне сорокового года, могу прислать вам. Вы знаете, что финны тогда использовали разрывные пули, запрещённые во всём мире?

— Чего вы добиваетесь, маршал Сталин? — сурово спросил Черчилль. — Близится “Оверлорд”, мне бы хотелось, чтобы к весне Швеция вступила в войну на нашей стороне, а Финляндия вышла из войны.

— Это было бы хорошо, — кротко ответил Сталин. — Но Выборг останется наш, об этом нечего говорить, Карельский перешеек тоже, Ханко. Если уступка Ханко вызывает трудности, я готов взять взамен Петсамо.

— Справедливый обмен, — поддержал Сталина Рузвельт.

Но Черчилль продолжал дуть в свою финскую дуду:

— Англичане хотят, во-первых, чтобы Россия была довольна своими границами и, во-вторых, чтобы финны были свободными и независимыми и жили, как сумеют, в этих весьма неудобных районах. Но мы не хотим оказывать какого бы то ни было нажима на Россию.

— Если на то пошло, союзники могут, если хотят, время от времени нажимать друг на друга, — возразил Сталин. — Пусть ваши драгоценные финны живут, как хотят. Всё будет в порядке, если они возместят половину причинённого ими ущерба.

Но ещё целый час шли пустопорожние разговоры про страну голубых озёр, откуда Сталин сердито не прервал:

— Довольно об этом! Есть ещё вопросы?

— Есть вопрос о Германии, — ответил Рузвельт. Он привёз с собой план расчленения её на Пруссию, Саксонию, Баварию, Австрию, Гессен и Ганновер, стали это обсуждать. Дядюшка Джо смотрел на вопрос явно скептически и спросил переводчика Бережкова:

— Как по-английски “Не спешите делить шкуру неубитого медведя”?

— “Не считай цыплят, пока не вылупились”, — ответил Бережков. — Или ещё: “Не спешите разуваться, пока не дошёл до реки”.

— Слабовато, — усмехнулся Сталин, Болен перевёл это Рузвельту, и тому вновь стало стыдно. А Черчилль снова долго и нудно говорил о Польше. Ему очень хотелось, чтобы она, несчастная, получила как можно больше земель, не только от поверженной Германии, но и белорусские и украинские территории, не входившие в состав СССР до 1939 года. Сталин вновь сохранял твёрдую непреклонность. Польша получит те границы, которые он ей назначит.

Теперь Рузвельт отчётливо понимал, что на заканчивающейся конференции Сталин одержал моральную победу над союзниками и презирает их за то, что они предали его, не открыли второй фронт ни в прошлом году, ни в этом, и неизвестно, когда откроют в следующем. И, взяв слово, президент объявил:

— Мы гарантируем высадку в Нормандии первого мая.

Он посмотрел на Черчиля, премьер сделал страшные глаза, посмотрел на Сталина, тот кивнул головой, типа: ну, что ж... И всё-таки, когда выработали окончательный вариант итогового документа конференции, сэр Уинстон настоял на формулировке “в течение мая”. Сталин великодушно добавил гарантию одновременного наступления, дабы помешать переброске немецких войск с Восточного фронта на Западный, после чего громко три раза хлопнул в ладоши, и в зал вошёл советский лейтенант с жестяной консервной банкой в руке. На банке крупными буквами чернело: “SPAM”, производное от: “**shoulder of pork and ham**” — “мясо свиной лопатки и окорока”, и по-русски: “Свиная тушонка”, именно так, через О.

— А сейчас мы с вами откроем второй фронт! — объявил Сталин. — Именно так у нас на войне солдаты и офицеры называют американскую тушёнку. И когда намереваются её есть, говорят: “Давайте, братцы, откроем второй фронт”.

Лейтенант поставил банку на стол, достал из кармана ножик и, откупорив консервы, наложил Сталину, Рузвельту и Черчиллю в тарелки. Все трое стали пробовать.

— О, вкусно! — похвалил Черчилль и, взяв банку, стал читать надпись на этикетке: — Тушёная свинина, жир, лук, соль, специи.

— Вот этот “спам” наши бойцы и называют вторым фронтом, — улыбнулся Сталин. — А ещё к нам проступают коробки с пайками — обед американского солдата. Туда входят тоже консервы, печенье, шоколадка, салфетка, зубочистка и, что бы вы думали, ещё?

Черчилль и Рузвельт переглянулись.

— То, что в наших советских аптеках называют “изделие номер два”, — вскинул брови Иосиф Виссарионович. — Презерватив! Покушал, вытер губы, поковырялся в зубах — и в кроватку с красоткой. Вероятно, в Америке полагают, что при каждом нашем солдате приставлена таковая. Но, увы, в итоге подавляющее большинство изделий остаются неиспользованными. Ешьте, ешьте, где ещё отведаете то, что наши бойцы едят между боями?

Он первым доел тушёнку, Черчилль охотно последовал его примеру, Рузвельт доедать не стал. Уж он-то знал, что по ленд-лизу в СССР его страна

поставляла просроченные консервы, переложенные в другие банки, есть можно, но не рекомендуется. На тебе, Боже, что нам негоже.

Выйдя на крыльцо советского посольства, Большая тройка уселась между высоких центральных колонн в кресла и стала фотографироваться. Рузвельт в центре, Сталин справа от него, Черчилль слева, причём, почему-то ему подсунули низкое кресло, и он, провалившись в него, сидел, как жаба, а президент Америки сверху мог взирать на розовую плешь премьер-министра Великобритании. Сфотографировавшись, сэр Уинстон откланялся и удалился в своё посольство, а Сталин ещё пригласил Рузвельта на прощальную беседу, угощал грузинскими винами и сырами, нежнейшими эклерами с шоколадной и сахарной помадкой, а также изумительно приготовленными кримслайсами, которые президент оценил по достоинству:

— Никогда в жизни не ел таких вкусных кримслайсов. Французы называют их тысячелистниками, а русские?

— Наполеон, — ответил Сталин.

— Наполеон?! — сильно удивился Рузвельт.

— Именно так, — подтвердил Сталин. — После победы над Наполеоном русские повара подали к праздничному столу это пирожное в виде огромного торта, и когда его слопали без остатка, кто-то из придворных пошутил: “Вот мы и съели Наполеона!” С того и пошло наименование данного блюда.

— Выпьем за то, чтобы в скором времени появился другой торт — Гитлер! — смеясь, поднял бокал президент Америки.

Они выпили, и Сталин не преминул добавить:

— Но чтобы никогда в России не появился торт Рузвельт или Черчилль.

— Ну, что вы! — слегка обиделся американец. — Не знаю, как сэр Уинстон, но лично я никогда не намерен воевать против России. И немецкий фюрер очень глуп, что не учёл печального опыта французского императора. Я бы с удовольствием съел ещё кусочек “наполеона”.

Ему подали ещё кусочек, и Сталин рассмеялся:

— Давайте выпьем за то, чтобы в ближайшем будущем вы бы попросили ещё кусочек Гитлера.

Рузвельт, счастливый, что между ним и Сталиным сложились такие лёгкие отношения, аж захохотал, потом заметил:

— Не хотел бы я, чтобы кто-нибудь просил подать ему ещё кусочек Рузвельта.

— А вам с Черчиллем, правда, приснились такие забавные сны? — спросил хозяин России.

— Не знаю, как ему, но мне нет, — ответил президент США. — Я просто продолжил его шутку. Но вы превзошли нас в своём остроумии. “Я не утвердил вас”. Вы обладаете очень подвижным умом, сэр Джозеф.

— Какой я вам сэр? — усмехнулся Сталин. — Я сын бедного сапожника. Это вы у нас сэры.

— А, я тоже не сэр, — махнул рукой Рузвельт. — Фамилия моих предков Розенвелт, что по-голландски означает “поле роз”, но жизнь их не была усыяна розами, и, спасаясь от нищеты, они бежали в Америку из Голландии.

— Так вот почему вы нормально относитесь к кино.

— Да, я люблю кино.

— А то Черчилль мне в прошлом году с презрением заявил, что аристократы относятся к кинематографу скептически.

— Это в чистом виде чванство, — фыркнул Рузвельт.

— Я преклоняюсь перед американцами, быстро сообразившими, что кино — это особый вид оружия. — И Сталин даже слегка поклонился Рузвельту. — Признаться, в молодости я недооценивал это, но в двадцатые годы сообразил, что Голливуд — это примерно то же самое, что вы построили в нынешнем году как средоточие военной мощи Америки.

— Пентагон, — кивнул Рузвельт. — Это здание уже получило такое название, поскольку имеет форму пятиугольника.

— Некоторые фильмы имеют силу огромных бомб, — продолжил Сталин. — Я уже говорил про вашего режиссёра Капру. Ещё раз спасибо ему за сердечное отношение к нашей стране и за его картину “Битва за Россию”. А в его фильме “Знакомьтесь, Джон Доу” Гэри Купер сыграл человека, в чём-то похожего на вас. За Джоном Доу народ идёт точно так же, как он идёт за вами. Я хочу выпить, чтобы вы и в четвёртый раз стали президентом. Мы, русские, хотели бы иметь дело только с таким правителем Америки. Ваше здоровье!

Рузвельт с трудом сдержал слезу, чокнулся своим бокалом с бокалом этого хитрого усача, выпил за своё здоровье и сказал:

— Да, я сам понимаю, что должен ещё раз баллотироваться. Хотя здоровье моё всё хуже и хуже. Проклятый полио! Скоро я совсем не смогу ходить. Да и так третий десяток лет мучаюсь.

— Помните замечательный рассказ О’Генри “Родственные души”? — спросил Сталин.

— Простите, что-то не припомню... — задумался Рузвельт.

— Тот, в котором вор забрался в дом богача, а потом оказалось, что оба страдают ревматизмом, это их сближает, и они идут в кабачок пропустить стаканчик-другой, потому что приходят к выводу, что ни одно лекарство не спасает так, как это. — И Сталин постукал ногтем по краю бокала.

— Ну, конечно, помню! — развёл руками Рузвельт. — Только он называется не “Родственные души”, как перевёл ваш переводчик, а “То, что делает весь мир родными”. Хотя, возможно, в русском переводе название изменилось.

— Я просто, честно говоря, забыл, как рассказ называется в оригинале, — покраснел Березжков.

— Это нестрашно, — похлопал его по руке президент Америки. — Вы великолепный переводчик. Такой молодой, и так виртуозно переводите.

— Только иногда забывает, зачем его пригласили, — проворчал Сталин, припомнив тот момент, когда вчера все увлеклись едой, и Березжков тоже положил себе в рот кусок бифштекса, а тут Черчилль, как на грех, снова стал болтать почём зря, и в переводе возникла пауза.

— Клянусь, это не повторится, — заморгал глазами юноша.

— Ладно, Валентин, забыли, — махнул рукой Иосиф Виссарионович и повернулся к президенту. — Сейчас не об этом. А о том, что мы с вами тоже родственные души. У вас ноги, у меня левая рука сохнет. В детстве попал под фэтон. И ноги тоже постоянно болят, в Сибири их в молодости отморозил. Но русский писатель Гоголь однажды написал о пользе болезней, что они смиряют нас и не дают совершать глупые прыжки. Выьем же за то, что мы с вами, Франклин, родственные души. И пусть, наконец, хотя бы это сроднит Россию с Америкой!

Он встал, Рузвельт тоже приподнялся, они с серьёзными минами выпили, сели, и Сталин добавил:

— А ещё и кино.

— Да, конечно, кино, — оживлённо согласился Рузвельт. — Я внимательно посмотрел все фильмы, которые вы мне прислали. Очень понравился фильм “Мечта”, один из лучших в мировом кинематографе. Там такая потрясающая актриса в главной роли, очень многоплановая.

— Одна из моих любимых, — тепло отозвался маршал Сталин. — Фаина Раневская. Непременно пришло вам ещё её картину “Подкидыш”. Там вы её даже и не узнаете. Мне очень нравится одно её высказывание: “Деньги прожрут, а позор никогда”. Это надо всем помнить.

— Да, хорошо сказано, — покивал президент, когда Березжков перевёл: “Money will be eaten up, but shame never”. — А ещё мне понравился фильм “Волга и Волга”. Я оценил ваш намёк в песне: “Америка России подарила пароход, хорошая машина, но ужасно тихий ход”. Это намёк, что мы слишком тихо двигаемся в сторону открытия второго фронта.

— Да уж, вы не летите стрелой, — усмехнулся Сталин.

— Черчилль всё время мне доказывает, что если бы Гитлер не напал на вас, вы бы не стали воевать на нашей стороне.

— Если бы вы не позволили Гитлеру развернуться в Европе, не отдали ему Австрию и Чехословакию... — заговорил Сталин, но осёкся: — Не будем ворошить. Всё это относится уже к прошлому, а прошлое принадлежит Богу.

Глава шестнадцатая

МЛЫН

— Де це я?

— Какая ещё деця?

— А ты хто така?

— Начинается! Совсем ничего не помнишь? Галя я.

Он приподнялся, попытался что-то разглядеть, но в комнате хоть глаз выколи. Сердце затосковало, и он запел:

— Ой, ты, Галю, Галю молодая, пидманулы Галю, зибралы з собою.

Дальше петь про то, как казаки заманили с собой Галю, потом в лесу привязали её же косами к дереву и зачем-то сожгли, он не стал, хотя темнота засмеялась:

— А поёшь ты, хохол, неплохо. Спой ещё, а?

— А ты чому зи мною по-росийски говоришь?

— А на каком же мне говорить, если я русская?

— Русская? А мы де?

— Где? У тебя на бороде.

— У мене немає бороды. Увимкны свитло.

— Чего? Не понимаю я ваши все эти здоровеньки-булы. Говори по-русски.

— Свет, говорю, включи. Хотя нет, не надо.

— О, вспомнил русскую речь.

— Слухай, Галю, а у нас з тобою що було вночи?

— В ночи? Как я тебя сюда припёрла, так ты рубильник свой и вырубил. Спал, как убитый. Да и что у нас могло быть, ежели я давно уже старуха?

— Слава тобі, Господы! — аж перекрестился он и стал медленно вспоминать, что происходило накануне. Вспомнилось, как он долго и медленно брёл по снежной каше улицы Горького, как дошёл до “Астории”, и оказалось, что её несколько дней назад заново открыли. Выплыло, как он сел и сразу же заказал себе графин водки, сала и жареных колбас.

— Так я що, тут в “Астории” и заночував?

— Слава Богу, вспомнил.

— Кажешь, стара, а голос молодой.

— Так это у многих старух голос не стареет.

Сознание медленно возвращалось, обожгло страшным пониманием:

— Ой, Боже ж ты мий! Я тут, незрозумило де, а Юлька не знае, що зи мною!

— Знает, — засмеялась Галя. — Ты ей по телефону звонил.

— Звонив? И що сказав?

— Что с товарищем Сталиным водку пьёшь. Правда, ты это Валерику в лацкан шинели говорил.

— Як це в лацкан?

— Вы с ним прощались, ты его схватил за лацкан и вдруг решил, что держишь в руке телефонную трубку: “Алё! Юлечка! Со мной всё в порядке, я у товарища Сталина на банкете, мы с ним водку пьём”. И не по-хохляцки говорил, а чисто по-русски.

— Так у меня жена русская.

— Приехали! А что ж со мной-то по-хохляцки?

— А ты вообще кто?

— Ну, как тебе сказать... Хорошая девушка. На заводе работаю. Шла с работы. Иду мимо, смотрю, хорошего человека хотят в милицию забрать.

Я и сказала, что ты мой муж. Пришлось тебя даже по морде нахлестать: “Опять нажрался! Опять всю получку пропил!”

— И дальше что?

— Что, что, домой к себе затащила. У меня мы теперь.

— Так я с женой по телефону говорил или в лацкан? — спросил он с тревогой, и тут воспоминание швырнуло его в далёкое детство, в родную Сосницу, как отец сетовал, что мечтал бы иметь свой собственный млын, а больше ничего и не надо для счастья. И он, семилетний, решил сколотить для отца млын, хотя бы игрушечный... И вышло всё тогда очень плохо, в точности, как вчера, отчего он и брёл по улице Горького убитый, а потом напился до потери сознания в “Астории”.

Всё, что угодно он готовился услышать вчера: указание на ошибки, требования переделать то-то и то-то, но совсем не такие страшные слова, какие услышал в зале заседаний Политбюро ЦК КПСС. Его, лауреата Сталинской премии, всемирно известного кинорежиссёра, растоптали и покалечили так, что казалось, арестуют на месте и поволокут из Кремля сразу на Лубянку.

Ещё недавно ничто не предвещало подобной катастрофы. До самой осени. После “Щорса”, принёсшего ему Сталинку, он почивал на лаврах, всеми облакан, всюду воспет. Снял три солидные полнометражные документалки “Буковина — земля украинская”, “Освобождение” и “Битва за нашу советскую Украину”, рассчитывал в новом году получить вторую Сталинку уже по разряду “Документальные фильмы”, как Варламов за “Москву” и “Сталинград”, готовился снимать большое художественное полотно “Украина в огне”. И вдруг — звонок Хрущёва...

Никита Сергеевич оказывал ему особое покровительство, и он отвечал ему огромной благодарностью: в “Битве за Украину” Хрущёв мелькает так часто, что у зрителя складывается впечатление, будто именно первый секретарь ЦК Украины освобождал подвластные ему территории, а вовсе не Ватутин, не Жуков и не Конев, которым в картине уделено по несколько мимолётных секунд. Мыкыта Сергийович — сама ласка, обожает Украину, всегда готов прийти на помощь, поддержать. Прочитав сценарий “Украины в огне”, пришёл в бешеный восторг:

— С начала года приступишь к съёмкам. Средств не пожалею. То будет самая великая картина об Украине! Надо в журнале пропечатать и сразу же книгой, в двух видах, на русском и на украинском. Пусть знают, что не всё так просто.

После такого восхваления ожидать чего-то плохого?.. Но вдруг в квартире Довженко на Можайском шоссе раздался телефонный звонок, и Александр Петрович не узнал ридного Мыкыту Сергийовича:

— Ты что мне подсунил, вражина! Диверсант! Самостийник поганый! Надул меня, написал сценарий, враждебный нашему народу, партии и правительству. Руководство страны в негодовании от твоих грязных вражеских выпадов. Ответственные товарищи, читавшие твою писанину, с отвращением пожимают плечами, не понимают, как это Александр Петрович мог написать такое. Оскорбил Богдана Хмельницкого, наплевал на классовую борьбу. Я с тобой цацкаюсь, а ты проповедуешь национализм!

— Я восемнадцать лет творил советское коммунистическое искусство, — выслушав хрущёвскую тираду, ответил Довженко. — И глупо подозревать меня во вражеских тенденциях. Да ещё в такое чрезвычайное время.

— Дывьись, яка цяця! — рявкнул Хрущёв почему-то по-украински и швырнул трубку.

Нетрудно догадаться, что сценарий не понравился главному цензору страны, но что именно? Да, там есть спорные моменты, но в целом-то то-нальность правильная, советская.

Вскоре и Большаков в спокойном и печальном тоне сообщил ему, что киноповесть Сталину не понравилась, и он запретил печатать её в журнале “Знамя”. Из редакции рукопись вернулась.

Зная за Хрущёвым манеру выругаться последними словами, а потом смягчиться, Довженко записался к нему на приём. Но недавний краший друг попросту отказал своему недавнему протеже, не принял. Ось сволота!

Бедный режиссёр чувствовал, что для него вскоре начнутся печальные времена, но от недобрых предчувствий отвлекали рассказы матери, которую он только что перевёз с Украины в Москву.

Когда немцы вошли в Киев, к ним в квартиру позвонили, вошёл офицер и несколько солдат, бесперемонно принялись располагаться, а мать и отца попросту вышвырнули вон, причём отец стал возмущаться, и его долго били, едва не забили до смерти.

Поселились в какой-то подозрительной неотопливаемой квартирке на Бессарабском рынке. Мать ещё держалась, а отец, видя могущество и наглость немцев, полностью разуверился, что Украину освободят, что украинцы не исчезнут с лица земли. В таком горестном понимании он и умер от годной водянки.

Думая о том, что по сравнению с отцовым несчастьем его временные неудачи сущий пустяк, Александр Петрович желал лишь одного: чтобы про “Украину в огне” забыли, а он приступил бы к новому сценарию, светлому и счастливому.

То же советовала ему жена:

— Не лезь в политику, Сашко, а главное, не пой ты своё дурацкое “Будё вильна Украина”. Разве мало есть в жизни тем простых, о простом человеческом счастье?

Милая Юлька! Часто вздорная, капризная, вертлявая, но такая необходимая ему и желанная.

Их познакомило весло, которое он неловко перебрасывал с одной уключины на другую и ненароком, но со всей силы, ударил свою первую жену Варвару по коленке. Варенька и без того страдала костным туберкулёзом, а тут ещё такая нехорошая рана, пришлось ездить по врачам, оказались в Одессе, пристроили на лечение, а заодно режиссёр, уже снявший к тому времени “Звенигору” и “Арсенал”, пристроился на киностудии и там встретил — кого бы вы думали?! — Юлию Солнцева, ту самую Аэлилу из протазановского фильма и папиросницу от Моссельпрома из смешной кинокомедии Желябужского. По ней вздыхала значительная часть мужского населения. Странная, какая-то нездешняя красота — то ли турчанка, то ли аргентинка, — жгучая брюнетка, над верхней губой — тёмный пушок, напряжённое, как струна, тонкое тело. И он сразу же влюбился, раздобыл где-то мешок апельсинов и высыпал их перед нею:

— Солнцева, вот вам много оранжевых солнц!

Роман меж ними закрутился стремительно, больная жена с маленьким сыном отошли на задний план, их очертания стали расплывчатыми, а потом и вовсе растаяли. Варвара не закатывала истерик, не пыталась вернуть мужа, некогда простившего ей то, что после революции она бежала за границу с белогвардейцем, а через шесть лет брошенная вернулась на Украину уже больная. Тогда она простила её и принял, женился. Теперь она простила его и ушла, даже сына записала на другую фамилию.

Жизнь с Юлькой радовала Довженко кипением страстей. Они часто ссорились, даже дрались, но потом мирились и вцеплялись, впивались друг в друга с неистовой силой. Будучи сверху, он приговаривал: “Вот так, вот так я покоряю Россию!” — а оседлав его, она восклицала: “Вот так, вот так Россия умирляет Украину!” Впрочем, его любовь к Украине Юлька уважала настолько, что досконально выучила малороссийское наречие и лишь “оливце” не могла произносить так, чтобы в ней не распознали москалячку. И песни с ним добре спивала, так что все друзья-хохлы сильно хвалили. Хотя с ними она становилась злая и пророчествовала со стороны всех этих гайдуков да гайдамаков предательства. Особенно ненавидела кращего дружка Смолича, с которым Сашко чуть не целовался — до того любил. Бывало, лягут на одну кровать и чешут языками о тяжёлой судьбе Украины, о её угнетении то ляхами, то жидами, то москалями.

— Сашко, ты, може буты, женишься на Юрко?

— Правильно говорить не “женишься”, а “одружишься”, рыбонька моя золотая, — смеялся Довженко и, наконец, прогнал Смолича. А когда тот уходил, Юлька шипела:

— Вот чуёт моё сердце, беда от него исходит, не надо с ним дружить. Александр Петрович злился на Юльку и со Смоличем дружбу не пресекал. Юрий Корнеевич много читал, много писал: рассказы, повести, социально-бытовые и фантастические романы, — его пьесы шли и в украинских, и в российских театрах, поговорить с Юрко — завжды цікаво. Но Юлька продолжала гнуть своё:

— Вот я замечаю, как он первым выводит тебя на опасные темы: ненавидятные жидаи всем завладели, ляхи вползают, москали свиньи, а вы, украинцы, во всём наикрасившие. Ну, вот что твой Юрко придумал с этими бутылками? И все, как дураки, пили и хохотали! Между прочим, там и мне смерть желалась.

Это когда Смолич принёс десяток бутылок водки, с которых снял этикетки и прилепил новые: “Смерть москаля”.

— Ну, ты ж знаешь, що це мы жартуємо.

— Ха-ха-ха! Ничего смешного. Сволочи!

Так они и жили, по лезвию ножа танцевали, то вспыхнет обида и ненависть, то — страсть испанская-аргентинская.

Как актриса Солнцева навсегда осталась в немом кино, умела только себя показывать, а не играть роли, зато год от года набиралась режиссёрской премудрости, и уже “Щорса” они снимали вместе. И в “Битве за нашу советскую Украину” Юлия Ипполитовна значилась как соавтор.

Но к “Украине в огне” у неё изначально душа не лежала. И когда в телефон отгавкал своё Хрущёв, когда вернули из “Знамени”, когда Большаков и Щербаков сообщили о сталинском неприятии, жена сказала:

— А я говорила, что ты доиграешься в свою самостийность. Сам же орден Хмельницкого придумал, и сам же тут Богдана растоптал!

Орден Богдана Хмельницкого и впрямь придумал Довженко, подсказал идею Хрущёву, тот — Сталину, Сталин Хрущёва похвалил, и орден в октябре 1943 года учредили, стали им награждать. А того, кто подал идею, перед Новым годом прищучили. Хорошо, если просто киноповесть запретят, да и забудут. Но — не забыли. И в конце января позвонил Большаков:

— Не хочу вас раньше времени огорчать, но тридцать первого января вы приглашены на заседание Политбюро, посвящённое обсуждению вашей киноповести “Украина в огне”.

Господи! До чего же не хочется вспоминать этот вчерашний последний день января!

— Попить-то есть что-нибудь, Галя?

— О, как пить захотел, так на русскую речь перешёл.

Раздались лёгкие шаги, журчание чего-то наливаемого. Эх, оказаться бы сейчас дома, на Можайском шоссе, в любимых объятиях тонких рук и тонких ног, да чтоб вшить друг в друга поцелуем до боли в зубах! Там, где он находился сейчас, по-прежнему царил тьма, в которой где-то поцокивали стрелки часов. В руках оказалась кружка, стал пить — ква-а-ас!

— Спасибо, Галя. А сколько времени?

— Пять утра. До света ещё далеко. Можешь поспать ещё, герой. Эвон, чего вчера вытворял.

— Как же, заснёшь, если даже не ведаешь, что вчера вытворял! А что я вытворял, Галя?

— Да многое. Посуду бил в ресторане. Кричал, что никакое кацапское здание в подмётки не годится простой украинской мазанке. Из кадки фикуса выдернул, швырнул на пол и кричишь: “Жрите, русские свиньи!”

— О, Господи, Боже ж ты мий! За що мени таки напасти!

— О, опять по-своему закурлыкал. Спасибо, что хохол, а не немец проклятый.

Это конец. Мало того, что его вчера подвергли такой казни, так ещё и он всё усугубил. И ведь знал, что будет следить от самого Кремля, куда бы он ни пошёл. Берия вчера прошипел: “За такое расстреливать!” Да и раньше он прекрасно знал, что за ним постоянная слежка. Иначе и не могло быть, ведь его терпели, не прикончили во время большого террора, хотя безвинных кончали, а он вообще за самостийников воевал, брал завод “Арсенал”,

рабочих которого сам же потом и воспел в одноименном фильме. За границей в двадцатые годы валандался. Любое шпионство можно приписать, хоть немецкое, хоть турецкое, хоть цацкипецкое. Ан нет, ежовское лихолетье пронеслось мимо, а Сталин стал приглашать к себе, ласково беседовал, обсуждал новые замыслы, даже вместе пел украинские песни, а когда шла работа над “Щорсом”, подарил патефон и набор пластинок с украинскими народными, которые желательно бы вставить в фильм. Кого ещё из режиссёров так привечал Иосиф Виссарионович? Да никого!

— А ещё что я вчера вытворял, Галя?

— Да много чего. Официант цыплёнка нёс, ты у него перехватил и какому-то дяденьке за шиворот сунул. И кричишь: “Это из-за тебя Володьку арестовали!”

— Якого Володьку?

— А я почём знаю, якого!

— А почему меня не выставили?

— Валерка за тебя заступился. Полковничисце. Огромный такой. Говорит: “Кто Мишку Реброва тронет, лично застрелю! Мы с ним в Сталинграде вместе Паулюса брали”.

— Якого Мишку?

— Ну, тебя, стало быть. А ты что, не Мишка?

Довженко молчал. Ему бы и неплохо было сойти за Мишку Реброва в данной ситуации.

— А ты Паулюса брал?

— Паулюса?.. Брал.

— Ну вот, все и перепугались. А тот, кому ты поросёнка за шиворот сунул, и вовсе расплатился и с женой убежал.

— Так поросёнка или цыплёнка?!

— Или большого цыплёнка, или маленького поросёнка, я не разглядела. А с Валеркой вы как стали пить за Сталинград, за Сталина, за Сталинград, за Сталина. И требовали, чтобы все за вами попевали. А кто не попевал, вы в них рюмками бросали. И ты бросал очень метко. Я и впрямь поняла, что ты боевой офицер. Страшно было в Сталинграде?

— Постой, постой! Що ты мени брешешь? Ты же меня подхватила на улице, когда меня милиция брать хотела!

— Это я уже потом подхватила, а до этого я в ресторан зашла. Хотела понюхать, как хотя бы там пахнет. Я так часто захожу. А тут ты меня увидел и говоришь: “А ну-ка, садись, я тебя угощать буду”.

— Угощал?

— Очень. За это спасибочки. Мне тебя жалко. Ночью всё стонал и кричал что-то по-своему, по-хохлацки. Я только одно поняла: “Со всех ваших постаментов!”

В холодном поту Довженко откинулся к подушке, пытаясь хоть что-то разглядеть во мраке зимней ночи первого февраля. Лишь где окно — различима тусклая полоска света. Надо встать и ехать домой, но сил никаких. Ещё чуть-чуть полежать, отдышаться.

— А я вчера никак к тебе не приставал?

— Нет. Напротив. Я тебя пожалела, погладила, а ты мне: “Я люблю Юлю!” В смысле: отстань! Верный, собака.

— Украинские мужчины самые верные.

— Опять старую пластинку поставил с украинскими народными. Вчера тоже: “Валерик, я тебя люблю, хоть ты и не украинец! Хочешь, мы тебя в украинцы запишем? Ты Куманьков, а будешь отныне Куманько!”

— А он?

— Ржал.

— Мда...

— А что у тебя вчера было? Расскажи.

— Это, Галя, государственная тайна.

Да уж, государственнее и не придумать! Приехал в Кремль, его провели в зал заседаний Совнаркома и Политбюро. Усадили за длинный стол, накрытый синим сукном. И он долго так сидел один, как дурак. Издевательство!

Стали заходить люди. Кивнут, но не здороваются. Особенно обидно такое от своих же хохлов — писателей Корнейчука и Бажана, председателя украинского Совнаркома Леонида Романовича Корнийца, ещё недавно называвшего Довженко диамантом Украины. Хрущёв вошёл, брезгливо глянул на него и даже не кивнул. Только Большаков, душа-человек, приблизился, протянул руку:

— Здравствуйте, Александр Петрович! Садитесь. — И вполголоса добавил: — И ничего не принимайте близко к сердцу.

Сразу как-то полегчало. Ворошилов, Молотов и Калинин вошли одновременно и тоже кивнули. Каганович вошёл и даже не глянул. Видимо, кто-то настучал о запальчивых высказываниях украинского режиссёра против его еврейской нации. Андреев, Маленков, Щербаков, Микоян. Все пришли. Наконец, медленной походкой в зал вступил Сталин, за ним — Берия, зыркнул на Александра Петровича и покачал головой: “Ай-яй-яй, зачем же ты так?”

Собравшиеся стали перебрасываться всякими репликами и вопросами, не относящимися к кино. Довженко показалось, что всё это розыгрыш, и сейчас его станут хвалить, вручат второй орден Ленина. Или хотя бы Трудового Красного Знамени. Но Сталин вдруг, словно вспомнив, зачем пришли, начал читать написанный заранее текст...

— Ох, Галя, мне бы пивка, а не квасу!

— Есть и пивко. Пожалуйста.

Она принесла ещё кружку, в ней и впрямь было пиво. Странная особа. Притащила его к себе после того, что он на её глазах вытворял. И сейчас держится нарочито поодаль, боясь, чтобы он к ней не стал приставать. А пиво даже прохладное, приятное...

— В этой киноповести, мягко выражаясь, ревизуется ленинизм, ревизуется политика нашей партии по основным, коренным вопросам. Киноповесть Довженко, содержащая грубейшие ошибки антиленинского характера, — это откровенный выпад против политики партии. Что это действительно так, в этом может убедиться всякий, кто прочтёт повесть Довженко “Украина в огне”.

Как кинокамерой по голове! Если есть слово “антиленинское”, кинцец тоби, Сашко! Не смерть москаля, а смерть режиссёра.

Все глянули на Довженко, словно пытаясь на прощание разглядеть его и запомнить. Корнейчук и Бажан, сидевшие слева и справа от распинаемого, отодвинулись от него на полстула. Ось мерзенни зрадныкы!

— Довженко ревизует политику и критикует работу партии по разгрому классовых врагов советского народа. А, как известно, эта работа была проведена партией в духе ленинизма, в полном согласии с бессмертным учением Ленина, — продолжал сколачивать эшафот Сталин. — Герой киноповести Довженко Запорожец говорит партизанам, собирающимся судить его за работу старостой при немцах: “Попривыкали к классовой борьбе, как пьяницы к самогону! Ой, приведёт она нас к гибели! Убивайте, прошу вас. Убивайте, ну! Доставьте радость полковнику Краузу. Соблюдайте чистоту линии!”

Докладчик цитировал “Украину в огне”, и автор киноповести вдруг отчётливо видел себя врагом советской власти, врагом России, эту власть создавшей. Нет тебе, Сашко, прощенья!

— “Я не знаю сегодня классовой борьбы и знать не хочу. Я знаю отечество! Народ гибнет! Я раб немецких рабочих и крестьян! — грозно закричал вдруг Запорожец. — И дочь моя рабыня! Стреляй, классовая чистёха! Ну, чего ж ты стал?” Итак, Довженко выступает здесь против классовой борьбы. Он пытается опорочить политику и всю практическую деятельность партии по ликвидации кулачества как класса. Довженко позволяет себе глумиться над такими священными для каждого коммуниста и подлинно советского человека понятиями, как классовая борьба против эксплуататоров и чистота линии партии.

Однако как он основательно подготовился, какую речугу написал! Уж одно это делает тебе честь, Сашко Довженко, мог бы сам товарищ Сталин просто хлопнуть его по плечу и сказать:

— Яке ты лайно напысав, Сашко, иди до стеночки, будем тебя малость расстреливать, да не визжи, не люблю, когда верещат.

Нет, он с уважением:

— Кому-кому, а Довженко должны быть известны факты выступлений петлюровцев и других украинских националистов на стороне немецких захватчиков против украинского и всего советского народа. Эти подлые изменники Родины, предатели советского народа не отстают от гитлеровцев, убивая наших детей, женщин, стариков, разоряя наши города и сёла. Они целиком перешли на сторону немецких злодеев, стали палачами украинского народа и активно борются против Советской власти, против нашей Красной армии. Если бы Довженко задался целью написать правдивое произведение, он должен был бы в своей киноповести заклеить этих изменников. Но Довженко, видимо, не в ладах с правдой. Иначе как понять, что Довженко в своей киноповести не разоблачил этих презренных предателей украинского народа? Они отсутствуют в киноповести Довженко, как будто не существуют. У Довженко не хватило духа, не нашлось слов, чтобы пригвоздить их к позорному столбу.

А ведь и Юлька говорила ему, что в “Битве за Украину” нет ни слова о тех, кто встал на услужение Гитлеру, а среди украинцев таковых миллионы. Когда смотрели документальный фильм, пропустили, а тут уж не стерпели. Должен был Довженко показать природу предателей и палачей.

— “Броня тонка” — это выражение повторяется в киноповести Довженко несколько раз, — продолжал гвоздить Сталин. — Оно, это выражение, придумано Довженко для того, чтобы сказать: “Советское государство не подготовилось к войне, и советский народ оказался безоружным”. Довженко не понимает той простой и очевидной истины, что немецкие империалисты, поставившие своей целью захватить чужие земли и поработить другие народы, исподволь, задолго до войны всесторонне подготавливали своё хозяйство и армию к захватнической войне, перевели всю свою промышленность на военные рельсы за несколько лет до начала войны. Наше социалистическое государство не готовилось и не могло готовиться к захвату чужих земель, к покорению других народов, не готовилось и не могло готовиться к захватнической войне. Надо же уметь видеть эту разницу, и при честном отношении к делу её нетрудно увидеть.

Уел ты, Александр Петрович, Иосифа Виссарионовича за катастрофу sorrow первого года. Но ведь мог же тот же Сталин пригласить его к себе и за бокалом винца по-отечески всё разъяснить. А он собрал аж целое Политбюро, чтобы при всех казнить лауреата и орденосца за его ошибки.

— Уроки Отечественной войны, которая идёт уже более двух с половиной лет, говорят о том, что из всех народов, не ставящих себе захватнических целей, наша страна, наш народ оказались наиболее подготовленными к войне против германского империализма даже по сравнению с такими мощными государствами, как Англия и Соединённые Штаты Америки. Такова правда. Если бы Довженко ставил своей целью писать правдивое произведение, он должен был бы об этом сказать в своей киноповести. Но Довженко, оказывается, не в ладах с правдой.

Хрущёв при последней фразе сжал губы и усиленно покивал. Вот ведь свинья! И до чего же похож на свинью: уши торчат, в профиль даже как будто пяточок имеется. А Сталин что-то уж слишком расстарался, двадцать минут прошло, а он всё читает и читает, забивает и забивает гвозди в эшафот, чтобы крепче стоял. Какие экскурсии в дальнюю и ближнюю историю! Понятное дело, доклад пойдёт и в публикацию.

— В своей киноповести Довженко критикует политику партии в области колхозного строительства. Он изображает дело так, будто бы колхозный строй убил в людях человеческое достоинство и чувство национальной гордости, ослабил силу и стойкость советского народа... Довженко отрицает ту простую и очевидную истину, что колхозный строй укрепил Советское государство как экономически, так и морально-политически, что без колхозов мы не могли бы успешно вести войну... Националистическая пелена настолько застлала сознание Довженко, что он перестал видеть ту для всех очевидную

огромную воспитательную работу, которую проделала наша партия в народе по развитию его политического самосознания и повышению его культуры.

Ага, за национализм ухватился грузин. Сейчас полетят клочки по закоулочкам!

— Словами врага, немецкого офицера, Довженко так оценивает советский народ: “У этого народа есть ничем и никогда не прикрытая ахиллесова пята. Эти люди абсолютно лишены умения прощать друг другу разногласия даже во имя интересов общих, высоких. У них нет государственного инстинкта... Ты знаешь, они не изучают историю. Удивительно. Они уже двадцать пять лет живут негативными лозунгами отрицания Бога, собственности, семьи, дружбы! У них от слова “нация” осталось только прилагательное. У них нет вечных истин. Поэтому среди них так много изменников... Вот ключ к ларцу, где спрятана их гибель. Нам незачем уничтожать их всех. Ты знаешь, если мы с тобой будем умны, они сами уничтожат друг друга”.

Тут Сталин отвлёкся от своего текста, попил водички и сказал доверительным тоном:

— Не для протокола. Известно мне, что Довженко любит всюду повторять, что в украинской мазанке всегда чисто, опрятно, всюду рушнички, половички, ни пылинки. А в русской избе всегда смрад, грязюка, пьяные рыла, матерщина, свинство.

Любит повторять? Что-то не помнится такое. Однажды, подвыпив, он и впрямь произнёс точь-в-точь такие слова закадычному другу Смоличу, а больше никому. Постой, постой, что там Юлька говорила о Смоличе? Нет, не может быть! Кто угодно, только не Юрчик!

— Как мог Довженко докатиться до такой чудовищной клеветы на советский народ? Критикуя работу нашей партии и правительства по воспитанию народа, Довженко не останавливается перед извращением истории Украины с целью оклеветать национальную политику Советской власти.

Далее Сталин принялся цитировать, где крестьяне говорят против Богдана Хмельницкого, как он душил украинскую свободу и продался москалям. Снова отвлёкся:

— Если уж кто и душил народные украинские восстания, так не Хмельницкий, а Мазепа, за что и удостоился ордена Андрея Первозванного лично из рук Петра Первого. Коего потом и предал. Так что, пан Довженко... — Он строго посмотрел на ещё не мёртвого, но уже не живого Александра Петровича и продолжил свой доклад: — Стоит ли говорить, что всё это есть наглая издёвка над правдой. Для всех очевидно, что именно Советская власть и большевистская партия свято хранят исторические традиции и богатое культурное наследие украинского народа и всех народов СССР и высоко подняли их национальное самосознание. Клеветает Довженко и на наш партийный, советский актив и командные кадры Красной армии, изображая их карьеристами, шкурниками и тупыми людьми, оторванными от народа.

Экзекучия продолжалась ещё минут пятнадцать. Сталин по своей привычке никуда не спешил, читал медленно и основательно, и каждая страница его доклада являла собой смертный приговор:

— Довженко в своей киноповести выступает против военной политики Советского правительства, клеветает на наши кадры, критикует основы советского строя и колхозы. Он критикует также основные положения ленинской теории... Откуда Довженко набрался такой смелости и нахальства, а может быть, и того, и другого, чтобы говорить подобные вещи?... Довженко в своей киноповести клеветает на украинский народ... Нетерпимой и неприемлемой для советских людей является откровенно националистическая идеология, явно выраженная в киноповести Довженко... Довженко не в ладах с правдой, поэтому он всё поставил с ног на голову. Однако свет клином не сошёлся — то, чего не понимает Довженко, прекрасно понимают трудящиеся Украины...

Финал прогремел самыми тяжёлыми громовыми раскатами:

— Киноповесть Довженко “Украина в огне” является платформой узкого, ограниченного украинского национализма, враждебного ленинизму, враждебного политике нашей партии и интересам украинского и всего советского

народа. Довженко пытается со своих националистических позиций критиковать и поучать нашу партию. Но откуда у Довженко такие претензии? Что он имеет за душой, чтобы выступать против политики нашей партии, против ленинизма, против интересов всего советского народа? С ним не согласимся мы, не согласится с ним и украинский народ. Стоило бы только напечатать киноповесть Довженко и дать прочесть народу, чтобы все советские люди отвернулись от него, разделили бы Довженко так, что от него осталось бы одно мокрое место. И это потому, что националистическая идеология Довженко рассчитана на ослабление наших сил, на разоружение советских людей, а ленинизм, то есть идеология большевиков, которую позволяет себе критиковать Довженко, рассчитана на дальнейшее упрочение наших позиций в борьбе с врагом, на нашу победу над злейшим врагом всех народов Советского Союза — немецкими империалистами.

Сталин закончил читать, и ангелы смерти захлопали крыльями под сводами зала заседаний. Далее начались выступления всех членов Политбюро, как ни странно, довольно короткие. Все поддерживали Сталина и порицали Довженко, но никто не предлагал мер наказания, только Берия прошипел:

— Во времена ежовщины такого бы давно поставили к стенке.

Наконец, Сталин строго спросил:

— А что бы нам хотел на это сказать сам товарищ Довженко?

Александр Петрович медленно поднялся и промолвил тихо:

— Я попробую всё переделать. Если успею. До того, как меня расстреляют.

Тут все принялись возмущаться:

— Он издевается!

— Ишь, чего захотел!

— Юродствует!

Получалось, они не хотят даже представить ему шанс исправиться, но оказалось, он неправильно понял их реакцию, потому что Сталин сказал:

— Вы правы, товарищи. Ишь, чего захотел! Чтобы мы уничтожили одного из лучших режиссёров не только нашей страны, но и всего мира. Ступайте, товарищ Довженко, и просто подумайте обо всём, что вам было сказано. А нам нужно ещё обсудить несколько вопросов.

Если бы мазанка встала на ноги и пошла, ей бы и то легче было бы идти, чем ему, когда он покидал зал заседаний. А тут ещё и Каганович встал и тоже направился к выходу, они вместе вышли, и Александр Петрович ожидал, что Лазарь Моисеевич сейчас спросит:

— Ну что, антисемитская морда, получил по заслугам?

Но вместо этого заместитель председателя Совнаркома ласково улыбнулся, похлопал режиссёра по плечу и сказал:

— Всё будет хорошо. Только не совершайте сейчас никаких поступков. Просто ни-ка-ких. Слышите меня?

Довженко замер, глянул в лицо человека, которого в дружеских разговорах с завзятыми борцами за свободу Украины именовал не иначе как “главный сталинский жидяра”, и вдруг устыдился, горячо схватил протянутую Кагановичем руку и крепко пожал её. Сказать ничего не мог: душили слёзы.

И потом он в затмении выходил из Кремля, шёл через сумерки по улице Горького, ничего не видя, покуда не остановился перед подъездом ресторана, в котором до войны нередко угощался и угощал. С началом войны его закрыли, устроили столовую для работников Моссовета и райкома партии, и он получал карточки на питание здесь для себя и Юльки. Раз в день можно было съесть винегрет, рыбный супешник и гречку с кусочком варёного мяса величиной со спичечный коробок. И то роскошь для первых трёх лет войны!

— Александр Петрович! — услышал он знакомый голос швейцара Митрича. — Не желаете ли зайти? Мы снова ресторан!

Он вошёл, сдал пальто в гардероб, увидел своё зелёное лицо в зеркале и прошёл в зал, где столы, как прежде, стояли под белыми скатертями и не как в столовке, кучно, а чинно и благородно. Знакомый официант Андруша, усадив, придвинул ему стул, спросил:

— Акавиты?

— Поллитровый графин, — ответил Довженко, благодарный, что Андриуша не забыл это слово, коим украинские дружки на манер монахов Почаевской лавры именовали водку, от латинского “аква вита”. — И сала, если есть. И жареной ковбасы.

Тотчас перед ним образовалась кристальной чистоты акавита, забелело нарезанное квадратиками сало, зашипела украинская ковбаса, свернувшаяся, как змея, в спираль, и Александр Петрович погрузился в пучину своего горя, о чём теперь вспоминал даже с каким-то странным удовольствием. С горя иной раз бывает очень даже сладко напиться так, щобы з глузду зъихаты. Да и на кой ляд нужен цей глузд, коли все летить пид три чорты?

— Понимаешь, Галю, — тяжело вздохнул Александр Петрович, лёжа в крошечной темноте неведомо, где, и незнамо, с какой такой Галей. Наверняка она какой-нибудь там сержант госбезопасности. — Я вырос в очень бедной семье, мои братья и сёстры умирали в дытьнстві. Мой отец був такой гарный, красивый, похожий на античного мыслителя, борода, брови... И он говорил: “Маты б тилькы млын, а бильш ничого и не треба для хорошего життя”. Млын, то бишь мельница, был предел его мечтаний. И я однажды нашёл в сарае дощечки и гвоздями сколотил из них млын, сделал так, чтобы мельница крутила крылами. Преподнёс свой подарок отцу. А оказалось, он приготовил те дощечки, чтобы сделать рамочки на окнах. Мама мечтала: “У всех рамочк на выкнах, а у нас немає”. Для неё рамочки казались роскошью. И мне отец высшал прутьями. Как же мне было горько и обидно!

Он не сдержался и зарыдал. Галя в темноте придвинулась к нему, стала гладить, прильнула. Он тотчас отпрянул:

— Не треба, Галю, у мене Юля е, я Юлю кохаю!

Галя возмугилась:

— Ишь ты! Юлю он любит! Вот я сейчас включу свет и увидишь меня, кака я красивая голая!

Она встала во весь рост в кровати, щёлкнула выключателем, он заслонил глаза от яркого света лампочек люстры, висящей на потолке, и в следующую минуту увидел жену свою Юльку. Поверить невозможно! Она стояла над ним голая на кровати, поворачиваясь туда-сюда, показывая своё изящное тонкое тело сорокалетней женщины, ничуть не тронутой возрастом. А он всё ещё прикрывал свою наготу одеялом.

Очухался, схватил Юльку за ноги:

— Папиросница! Аэлита завзята!

Дёрнул, она повалилась на него, прижала лопатками к кровати, оседлала:

— Сдаёшься, клятый хохол?

— Сдаюся, пидступна кацапка! — хрипел он под её сильными руками, надавившими на грудную клетку.

— Ну что? Кто говорил, что я только для него кино гожусь? Ты хоть раз услышал в моём голосе мой настоящий голос?

— Инший раз подозревав, не Юлька ли это? Но должен признаться, ловко же ты свой голос переделала!

— Древние греки говорили: искусство актёра — это искусство голоса, потому у них актёры и носили маски, чтобы актёр не мог помогать себе мимикой. И если ты признаёшь, что так и не узнал меня, значит, по греческим меркам, я настоящая актриса. А ты, бесеняка, не хочешь меня снимать, как Герасимов свою Макарову.

— А как же жена Пархоменки?

— Хо-хо, мизинчиковая роль! Давай мне теперь главную роль в “Украине в огне”! Олесю! Даром, что мне сорок два.

Он крепко прижал к себе жену, проявившую такие несказанные актёрские таланты, и горестно простонал:

— Не буде “Украины в вогни”! Розбылы мене вчора в пух и прах. Размазав Сталин по стинци.

— Знаю, Сашко, — прошептала она.

— Звидкы?

— Так ось звидты. Когда ты вчера до полуночи не явился, я позвонила Большакову. Он мне всё вкратце поведал. Сказал, что ты ещё засветло уходил из Кремля. Я так и подумала, что ты не хочешь горе своё домой нести...

— Перед мамою совистно було.

— Это понятно. Она там настрадалась, а тут ещё сыновья беда. Взяла такси, поехала искать тебя. Таксист вспомнил, что на днях “Асторию” открыли как частный ресторан. Там ты и оказался. Пьянее водки. Вовремя я подкатила. Договорилась насчёт номера.

— Так мы в гостинице? А я думаю: де ж це мы?

— Здесь же, в “Астории”, на втором этаже. Да ещё тебя понесло такси ловить, я за тобой. Ты на переднее сиденье, я на заднее. Водитель спрашивает: “Куда?” А ты: “На Украину милу!” И хлоп — спишь. Машина поехала, он меня: “Так куда везти?” “Кружочек сделайте и обратно сюда”. Он так и сделал, а тут уж мне помогли тебя тихонечко дотащить до номера.

— Ну и ну! Ось так сценарий! А про то, как я в ресторане хулиганил?

— Это я всё придумала. Очень я рассердилась, что ты не ко мне стремился, а сначала в ресторан, а потом на Украину свою.

— Так я не нанёс ущерба?

— Нанёс, но не сильно. Ты там буянил, как мне сказал Андриуша, рыдал ещё, кричал: “На Украину! Додому!” Пел, конечно же, своё придурочное “Шабли до горы!” Ну, разбил там чего-то, фикус из кадки выдёргивал, как ту репку из сказки. Но людям вреда не творил. Горячих поросят за шиворот не клал никому. Ты ж у меня добрый. Сашко ты мой, Сашко любимый!

Глава семнадцатая

“В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”

— Внимание! Говорит Москва! Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена! Приказ верховного главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-морскому флоту. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! В ознаменование полной победы над Германией сегодня, девятого мая, в День Победы, в двадцать два часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная армия и Военно-морской флот! — Левитан сделал паузу и закончил: — Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин.

Процедура подписания капитуляции немцев завершилась на окраине Берлина в Карлсхорсте поздно вечером восьмого мая, а в Москве уже наступило девятое. По радио предупредили, что в шесть часов утра будет важное правительственное сообщение, и все советские люди завели будильники, чтобы не проспать, потому что уже с минуты на минуту ждали этого главного известия, а многие и не ложились всю ночь в предвкушении утра. Не ложились и самый главный радиослушатель. Когда Левитан своим необыкновеннейшим голосом заговорил, сидящая неподалёку Валечка уткнула глаза в полутенце и, беззвучно плача, прослушала всё от начала до конца торжественное радиосообщение. Сталин, стараясь не смотреть на неё, чтобы тоже не расплакаться, сидел в своей маршальской форме окаменевший. Потом встал и тихо произнёс:

— Ну, вот и всё.

Сразу же зазвонил телефон, он сам снял трубку и услышал Сетанку:

— Папа! Поздравляю тебя! Победа!

Она заплакала на том конце провода, он глотал слёзы на этом. Выдавил из себя тёплым голосом:

— Да, победа. Спасибо. Поздравляю тебя. Как ты себя чувствуешь?

— Так же, как все сейчас. Послушай! — И в телефонную трубку к Сталину ворвались с улицы радостные крики, смех, возгласы “Ура!” — Слышишь? — вернулась в трубку Сетанка.

— Слышу. Когда рожать?

— Думаю, через две недели. Если мальчик, назовём Иосиф.

— Спасибо, дочка. Радуйтесь.

Он положил трубку и сказал Истоминой:

— Иосифом хочет назвать сына. Напополам.

— Почему напополам? — удивилась Валентина Васильевна.

— Потому что свёкор тоже Иосиф.

— Ах, ну да.

— С Днём победы, Валечка! С Днём Великой Победы!

Через три дня в кремлёвском кабинете Ворошилов докладывал Верховному:

— Начиная с девятого мая и по сей день на всех фронтах взято в плен более семисот тысяч немецких солдат и офицеров, а также шестьдесят три генерала.

— Очень хорошо, Климушка, очень хорошо, — тихо отвечал Сталин. — А что с Гитлером?

— Обнаруженный труп оказался Густавом Веллером, двойником Гитлера. Обугленные останки другого трупа обследовала ассистентка зубного врача и заявила, что опознала Гитлера по протезам. Но можно ли ей верить?

— Не думаю, что бесноватый придурок так глуп, чтобы покончить с собой, — высказал свою точку зрения Сталин. — Выяснилось, что он являлся одним из самых богатых людей планеты, на его счетах немыслимые суммы. А человек, столь жадный до денег, панически боится смерти. Скорее всего, он сбежал куда-то в Южную Америку. Да и чёрт с ним!

— Вот именно, пусть чёрт с ним будет, — кивнул Ворошилов. — Ещё ты просил узнать про другого Гитлера.

— Ах, да, нашего. И что он?

— Я выяснил. Семён Гитлер пал смертью храбрых летом сорок второго года, защищая Севастополь.

— Не уберегли нашего Гитлера, стало быть, — опечалился Верховный. — Устал, Володя? — вдруг обратился он к старому и любимому другу давно позабытой партийной кличкой.

— Если честно, Коба, валюсь с ног, — аж вздрогнул Климент Ефремович.

— Можешь идти, дорогой мой.

Ворошилов покинул кабинет, а Сталин некоторое время с наслаждением стоял перед картой военных действий. Тонкие и толстые алые стрелы пронзали Германию с востока, убегали за Берлин и Штеттин, метнулись от Дрездена к Праге, встретились с оранжевыми тонкими змейками-стрелками союзничков, которые, сволочи, успели оттяпать себе две трети Германии. Им-то немчура в апреле-мае сдавалась как нате-здасьте, а нам сопротивлялась до последнего. Ладно, Суворов говорил: “Мы-то себе ещё завоюем, а этим где взять?”

Ждал-ждал этой победы, и вот она уже пришла, и четвёртый день живём с ней, в ней, при ней. Обвенчались с Победой, сыграли свадьбу. С этой краснощёкой и полной жизни красавицей. До чего же хорошо, слов не найти!

Он глянул на часы: шесть часов вечера после войны. Как в том фильмешнике. Сладко, до хруста, потянулся всем телом. Надо было бы нынче Климушку к себе на Ближнюю зазвать, но раз устал, пусть отдыхает. Да и как хорошо будет вновь окунуться в самое лучшее и уютное своё общество: сапожник, кухарка и фокусник.

— Позвоните Ганьшину, пошлите за ним машину, — отдал приказ Покрёбышеву, покидая кабинет.

С каким тяжёлым чувством он возвращался из Кремля на Ближнюю в сорок первом и сорок втором, после Сталинграда тяжесть исчезла, но тревога оставалась ещё два года, даже до самого Дня Победы; и лишь теперь он ехал с лёгким сердцем. Незаменимый Удалов вывел “паккард” через Боровицкие ворота, вырулил на Знаменку, носящую имя Фрунзе, позади остался Пашков дом, и Иосиф Виссарионович заметил:

— Изначально на доме Пашкова, на самом верху сидела статуя бога войны Марса, её император Павел снял. Может, сейчас, после Победы, стоит Марса вернуть, как думаешь, Палосич?

— Ну его, этого бога войны, к шутам собачьим! — сердито ответил верный водитель. — Одно горе от него. Лучше статую бога мира. Есть такой?

— Богиня мира была у греков, Эйрена, — ответил знаток мифологии. — Крылатая, кажется. Можно и её.

— Отличная идея! — поддержал Удалов.

— Слушай, дружище, — со смехом припомнил Сталин. — А не ты ли держал пари, что если разгромим фрицев, ты, наконец, женишься?

— Я, товарищ Сталин, — вздохнул Палосич. — Только не хочу я связывать свою судьбу с этими крылатыми! Не создан Павел Удалов для семейной тяготины. Не хочу себя навязывать женщинам на веки вечные. Характер у меня анафемский.

— Да ладно тебе! Нормальный характер, ты лёгкий, весёлый, — возразил Сталин и подумал, что Палосича тоже можно взять в их тайный синклит: сапожник, кухарка, фокусник и извозчик, но тотчас вспомнил, что Удалов не большой любитель кино. А жаль!

Они проехали мимо “Художественного” с афишей нового фильма Бориса Барнета “Однажды ночью”, и Сталин подметил, что Ирина Радченко на афише выражением лица похожа на Истомину, к которой он так прикипел за последние годы, особенно за годы войны, когда она не ездила каждый день домой, а почти постоянно жила на Ближней. Вскоре ожидалось возвращение с фронта её мужа, и Сталин приказал выделить полковнику Истомину Ивану Арсеньевичу и его жене Валентине Васильевне новую квартиру в Москве и дачу в Подмосковье. К тому же, Валечка собиралась взять к себе на воспитание племянника Толика, сына её брата Василия, погибшего на фронте. Мать Толика после получения похоронки стала малость того.

Эх, скоро Валечка снова станет уезжать к себе домой, к своему Ване...

Палосич гнал по Арбату, Сталин взгрустнул и, чтобы отвлечься, спросил о легковом броневике.

— Он, конечно, появится, но не завтра, — ответил начальник гаража особого назначения. — Вес! А покрышки? Надо одновременно новые покрышки для такого рыцаря изготавливать.

Он с увлечением продолжал рассказывать о том, как осуществляется персональное задание Сталина о создании бронированного автомобиля. А Сталин смотрел на московских жителей, как бедно они одеты, многие в военной форме, многие, несмотря на тёплые майские денёчки, в серых задрипанных фуфайках. “Паккард” выскочил на Бородинский мост, и сидящий на откидном жёстком strapонтене Сталин вдруг увидел, как девушка быстро и решительно вскочила на паранет.

— Тормози! — воскликнул он.

Палосич дал по тормозам и тотчас проехал несколько метров назад, остановился рядом с девушкой на паранете.

Сталин выскочил из автомобиля, подошёл, окликнул:

— Зачем хочешь это?

Девушка повернула на него заплаканное лицо, вздрогнула, едва не упала с моста, но удержала равновесие и спрыгнула на мост.

— Товарищ Сталин?

— Товарищ Сталин запрещает тебе это! — гневно откликнулся он, увидел бегущего милиционера и крикнул: — Городош! Быстро в машину! —

И сам впахнул девушку в салон “паккарда”, прыгнул на своё откидное место, приказал Палосичу: — Гони!

Милиционер подбежал с криком:

— Стоять!

Но, видно, сообразил, что это за автомобиль, и застыл соляным столбом, аки жена Лота. Сталин озорно приставил большой палец к носу, а остальными четырьмя пальцами потрепал в воздухе.

— Ушли от городоша! — повторил это слово, коим когда-то он и другие революционеры называли городских. В этом слове жила и искрилась его молодость, когда часто приходилось улизнуть от городошей, обмануть, облапошить, обдурить стражей порядка. — Палосич, давай по набережной!

Он глянул на девушку, вытащил из-под неё свою шинель, кинутую на сиденье. Спросил ласково:

— Ну что ты, дурочка? Жених погиб? Или что?

— Муж. В апреле поженились. Он на побывку приезжал. А сегодня утром похоронка. За пять дней до Победы погиб!

— В апреле поженились... Не забывай его, помни и чти. Но когда другой встретится, не думай, что ты плохая. Выходи замуж, рожай детей. Понятно?!

— Понятно... А вы и вправду Сталин?

— Да Сталин, Сталин. Разве по мне не видно? Сколько людей погибло, а такие, как ты, должны будете рожать и рожать. Чтобы восполнить. Понятно?!

— Понятно. — Её вдруг стало колотить, будто она побывала в холодных водах Москва-реки.

Сталин накрыл её своей шинелью. Рассердился:

— Запомни, что тебе Сталин приказал!

Он гневно сверкнул глазами, но тотчас улыбнулся ей:

— Эх, дочка! Как фамилия и имя?

— Шуткина Надежда, это по мужу. — Её всё ещё колотило.

— Знаешь, что, Шуткина Надежда, ты напиши мне: “Москва. Кремль. Сталину”. Докладывай всё о своей жизни. Я запомню: Шуткина Надежда. Договорились?

— Договорились. — Её, наконец, перестало колотить.

— Эх, повезти бы тебя ко мне на дачу, напоить чаем горячим. Да там Власик, злой властелин, заругает нас с тобой, Надя. Давай мы тебя тут высадим. Не будешь больше дурить?

— Не буду.

— Живёшь далеко?

— Да нет, как раз тут близко, возле Новодевичьего.

— Ну, живи, Надежда Шуткина. Не огорчай меня. Если ты не станешь товарищу Сталину письма писать, товарищ Сталин очень огорчится. Тебе этого хочется?

— Нет. Спасибо, товарищ Сталин. Я напишу. Обязательно напишу.

Она рассталась с его шинелью, вышла, помахала ему рукой, и Палосич повёз его дальше.

— Видал такую? — спросил Сталин, когда уже с Бережковской набережной переехали в Потылиху.

— Видал, — отозвался Удалов. — Только умоляю, Иосиф Виссарионович, ни слова Власику! Он убьёт, если узнает, что я остановился и позволил вам выйти. Ведь это могла быть провокация.

— Ладно, не скажу никому. Но и ты держи язык за зубами.

Миновали здания “Мосфильма”. Недавно Большаков жаловался на катастрофическое состояние главной московской киностудии, в ходе эвакуации сошёл с рельсов поезд, погибло оборудование, сама дирекция в последнее время работала из рук вон плохо. С подачи Сталина заместителем Ивана Грозного недавно назначили Михаила Калатозова, талантливого и энергичного режиссёра, снявшего “Соль Сванетии”, “Валерия Чкалова”, “Непобедимых”. На самом деле он Калатозовили, семья из древнего княжеского рода Амирэджиби. В последние два года работал в Америке как

полномочный представитель Комитета по делам кинематографии, где очень много сделал для покупки и проката в США советских фильмов. Теперь Мишико Калатозову поручили навести порядок на “Мосфильме”.

Сталин думал о том, какой бы сюжет получился для фильма: он спасет девушку, привозит её к себе на Ближнюю, они становятся друзьями, а потом... Глупость, конечно! Надо гнать такие сюжеты подальше.

За Потылихой Москва кончилась, пошли сады-огороды, дачи, в основном жалкие строения, и Сталин сказал:

— Никак не дадут нашему народу пожить достойно. Ведь если бы не война, какая бы прекрасная сейчас была наша Москва!

— И не говорите, Иосиф Виссарионович, — согласился Палосич. — Не дают, гниды, нам вздохнуть свободно. Небось, Париж как был богатый, так и после войны хорошо себя чувствует.

— Зато Германия лежит в руинах.

— И поделом ей, сучке поганой!

— Причём не столько наши постарались, как союзнички разбомбили. Представь себе, когда я в Тегеране сказал Черчиллю, что надо после войны расстрелять пятьдесят тысяч немцев, ответственных за войну, Черчилль возмутился. И даже не понял шутки, когда Рузвельт предложил уменьшить цифру до сорока девяти. Всё пыхтел: это не гуманно, это бесчеловечно! А потом его же авиация стёрла с лица земли Дрезден, в котором погибло, заживо сгорело как раз сорок девять тысяч ни в чём не повинных мирных жителей!

— Лицемеры буржуйские! — возмутился Удалов, сворачивая на лесную дорогу, ведущую к правительственному объекту “Волынское”, в обиходе именуемому Ближней дачей. — Анекдот свежий хотите? Черчилль говорит: “Мне снилось, что меня назначили королём всей Земли”. Рузвельт говорит: “А мне снилось, что меня назначили президентом всего Космоса”. А Сталин: “А мне снилось, что я вас обоих не утвердил”.

— Вот ведь придумает же наш народ анекдоты! — от всей души рассмеялся Иосиф Виссарионович. — Неиссякаемое остроумие! А ещё что есть про Сталина?

— Черчилль и Рузвельт говорят Сталину: “Отдайте нам Крым, а мы вам за это хоть что подарим!”

— А Сталин?

— А он им показал три пальца, большой, указательный и средний, и говорит: “Угадаете, какой тут палец в середине, отдам вам Крым”. Ну, они, конечно же, на указательный. А Сталин: “Не угадали. Вот какой в середине!” — И Палосич вставил большой палец между указательным и средним, получилась фигушка.

— Да, остроумный парень этот Сталин в представлении нашего народа, — усмехнулся Сталин.

Выйдя из “паккарда”, хозяин дачи пошёл пешком к дому и строго погрозил двум сойкам, устроившим склочную перепалку прямо у него на пути:

— Вот я вас тоже дробью-то!

Но сойки на самом деле, хоть и обладали сварливым нравом, радовали его. Этой весной они большой стайей прилетели, в битве с воронами одержали победу, полностью изгнали крылатых гитлеров и обосновались тут. Своими скрипучими криками они, конечно, тоже не услаждали слух, но, во всяком случае, не устраивали общего гвалта, как торговки на тифлисском рынке, не превращали тишину в концерт авангардной музыки. А главное, отличались от ворон красотой: очертания такие же, но расцветка — голова, спинка и пузик розовато-коричневые, похоже на какао с молоком, по чёрно-белым крыльям яркие бирюзовые полосы — очень красиво.

Вороны предпринимали попытки вернуть себе владения, политые кровью своих бойцов, но сойки всякий раз их решительно выдворяли, о чём непременно с восхищением сообщал Власик. Сойки не в пример лучше ворон, и тупка с винчестером отныне оставались не у дел.

Вскоре Сталин уже разместился в Малой столовой, велел поставить побольше стол и накрыть его:

— Пировать будем!

К кухарке и сапожнику присоединился фокусник, и сапожник приказал налить по бокалу вина или кто чего хочет, но непременно с градусом:

— Давайте выпьем за пленных немцев! Было время, когда наших брали в плен десятками и сотнями тысяч, а теперь, пройдет ещё несколько дней, и цифра пленённых фрицев достигнет миллиона. Мне сегодня доложили, что только за последние три дня сдалось семьсот тысяч этих гадов. Выпьем за то, чтобы они у нас хорошо поработали, восстанавливая то, что сами разрушили.

Он осушил бокал “цинандалы”, Валечка пригубила свою любимую “Лидию”, вновь вернувшуюся после освобождения Молдавии, Ганышин махнул рюмку армянского коньяка.

— Ну, или так, — весело сказал Сталин. — Александр Сергеевич, вы не увезли в Белые Столбы “Большой вальс”? Но не тот, который я часто смотрю, а про то, как в прошлом году фрицев по улицам Москвы провели?

— Я знал, что вы ещё раз захотите, — довольный собой ответил фокусник. — Ставим?

— Ставим.

— Я пока ещё по делам стряпни, — сказала кухарка и оставила Сталина и Ганышина двоих. Ожил и заработал “Симплекс”, затрубила труба, на экране высветилось громоздкое название: “Проконвоирование военнопленных немцев через Москву”, — хотя событие лета прошлого года носило название “Большой вальс”, и вполне можно было бы так назвать.

Бодрый голос диктора:

— Москва. Сегодня, семнадцатого июля одна тысяча девятьсот сорок четвёртого года солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве. Вот они, пятьдесят семь тысяч шестьсот плененных немцев. Остатки разбитых полков, дивизий, корпусов.

Когда в ходе операции “Багратион” наши полностью разгромили группу армий “Центр”, в плен попало немчуры гораздо больше, чем под Сталинградом. Одних только генералов — почти половина из всех сражающихся на Восточном фронте. Союзнички тогда отчаянно и не очень успешно дрались на Втором фронте, высадившись в Нормандии полтора месяца назад, и не хотели верить в столь сокрушительную победу Красной армии в Белоруссии. Тогда Сталин сказал:

— Для чего у нас есть кино? Провести как можно больше плененных через Москву, заснять на плёнку и отправить Рузвельту и Черчиллю.

И вот теперь он ещё раз с удовольствием смотрел, как фрицев собрали на Московском ипподроме и стадионе “Динамо”: генералы аккуратные, а солдатня грязная, небритая. Воды хватало, чтобы их поить, но не хватало на мытьё. Да так даже и лучше. Мечтали пройти по Москве парадом, сытые и чистенькие? Так пройдите чумазыми и полуголодными! Впрочем, каждому выдали по тарелке каши, четвертинке хлеба и куску сала. И это в качестве добавки к ежедневному нормативу, состоявшему из полбуханки ржаного хлеба, тарелки каши или макарон, трёх варёных картошин или морковок.

Толпы москвичей выстроились вдоль улиц своей неповерженной столицы, смотрят на плененных нелюдей, как на обезьян в зоопарке, на лицах — любопытство и, как ни странно, почти нет злости. А до чего же тошно этим гадам шагать по городу, который им не сдался! Шагать под взглядами людей, которым они испортили жизнь, а многим исковеркали. Мрачная серая змея проползает через центр Москвы, многоголовый поток уберменшей, разбитых и пленённых унтерменшами! Какое удовольствие смотреть на них, на то, как рухнули их наглые мечты, видеть их хмурые и мерзкие морды. Некоторые от стыда посмеиваются. Но в основном видно, как им гадко.

— А это вы сами придумали название операции “Большой вальс”? — спросил фокусник.

— Ну, а ты как думаешь? — усмехнулся сапожник.

— Думаю, вы. Ваша любимая картина. Я вам её раз двадцать показывал.

— Надо было их под вальсы Штрауса провести, — рассмеялся Сталин. — Эх, русский мужик задним умом крепок! А я, знаешь ли, давно уже русский мужик, никакой не грузин. О, о! Мои любимые кадры!

Фильм подходил к концу, следом за колоннами пленных немцев ехали поливальные машины, мыли улицы, а диктор весело говорил:

— Вот так! Отмыть, отчистить землю от всей гитлеровской нечисти, чтобы и следа её не осталось.

Москвичи расходятся толпами, довольные увиденным парадом, а фрицев запирают в товарные вагоны, повезут их, голубчиков, восстанавливать страну.

— Неплохо для начала, — улыбался сапожник. — Приятная хроника. Зря тогда Сталин отказался постоять где-то на балконе и показать им вот так. — И он коснулся большим пальцем носа, а остальными пальцами затрепетал, как под порывом ветра.

— Да, зря, — усмехнулся фокусник. — Хотя сказали бы: несолидно.

— Скажу по совести, мне всю жизнь хочется вести себя несолидно, — признался сапожник. — Раньше я мог позволить себе шалости с женой и детьми. Жена умерла, дети выросли. А к внукам я почему-то не испытываю родственной тяги.

— Многие не испытывают, но приходится делать вид, что очень их любят, — сказала появившаяся кухарка. Она принесла голубцы в сметанно-ореховой подливе, большое блюдо. Тайный синклит стал угощаться, выпили ещё по чуть-чуть, причём сапожник даже и не чуть-чуть, а хорошо промочил горло белым вином. Только сегодня душа его обмякла, осознала, что всё, Победа, конец войне.

— Вы хотели ещё раз про Крымскую конференцию посмотреть, — напомнил Ганьшин. — Ставим?

— Ставим. К тому же Валентина Васильевна ещё не видела.

И они стали смотреть фильм, снятый под руководством Сергея Герасимова.

— Это тот Герасимов, который “Семеро смелых”? — спросила кухарка.

— Он самый, — ответил сапожник. — А режиссёр Копалин, который вместе с Варламовым снимал “Москву” и “Сталинград”.

Фильм начинался с прилёта всех по очереди гостей, и, конечно же, когда появился госсекретарь президента США, Валечка со всем своим простодушием спросила:

— Как-как? Скотиниус? Ну и фамилия?

— Стеттиниус, — терпеливо поправил Сталин. — Немец, кстати, Штеттиниус на самом-то деле, от названия города Штеттина, который мы отдаём полякам, и отныне он будет Щецин.

— Зачем этим полякам такие подарки? — проворчал Ганьшин. Он в последнее время малость обнаглел, позволял себе ворчать на некоторые политические решения.

— Мне самому не нравится, — вздохнул Сталин. — Но не возвращать же им ради дружбы Западную Украину и Западную Белоруссию. Приходится ради дружбы дарить немецкие земли — Померанию, Силезию, часть Восточной Пруссии. Бреслау теперь будет Вроцлав, Позен — Познань, Штеттин — Щецин, Данциг — Гдыня. Хотя поляки, конечно, ненадолго оценят нашу щедрость.

— Вообще не оценят, — фыркнул фокусник. — Всё равно мы для этих пшеков всегда будем пся крев.

— Это что значит? — спросила кухарка.

— Собачья кровь, сукины дети, — пояснил сапожник. — А пшеки — это поляки, потому что они всё время пшекают: пшепрошем, пшесолеч, не пешши, Петше, вешша пешшем.

— Как-как? — изумилась Валечка и закатилась своим искристым смехом. — Напишите мне, я запомню. Пшонка тоже от них происходит?

— Зачем же их так одаривать? — сердито спросил Ганьшин.

— Затем, мои дорогие, что англичане и американцы непременно задумают начать против нас наступление, а Польша станет заслоном, — ответил Хозяин, начиная сердиться, но не сказал, что кухарке подобает заботиться

о кухне, а киношнику — крутить кино.

— А почему они так задумают? — беспокойно спросила Истомина. — Неужели опять война будет?

— Не беспокойся, Валечка, не пойдёт твой Ванюша снова воевать, — похлопал её по коленке Сталин.

— Да он ещё с этой войны не вернулся.

— Они, конечно, захотят немцев снова на нас повернуть, но кишка тонка, сейчас Красная армия по-настоящему всех сильнее, как в той песне поётся, — терпеливо, как детям, объяснял Верховный главнокомандующий.

— А Черчилль-то на паука похож, — сказала Валечка, глядя на то, как британский премьер спускается с трапа самолёта на крымскую землю.

— А он и есть паук, — сурово припечатал Сталин, с неприязнью думая о сэре Уинстоне.

В октябре прошлого года он опять приезжал в Москву, на сей раз распределять сферы влияния в Восточной Европе, где союзники вообще не воевали, но уже требовали участия в послевоенной жизни Югославии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши. Кроме того, после разгрома Германии союзники требовали от СССР открытия второго фронта против Японии, понимая, что сами не справятся. Сталин пошёл на уступки, но самые минимальные, и пообещал через четыре месяца после падения Берлина перебросить войска на Дальний Восток.

Общался Черчилль уже холодно, важничая, мол, мы уже всю войну воем с немцами в Европе, и ещё неизвестно, кто возьмёт Берлин. В Крым долго не хотел лететь, требуя, чтобы новая конференция Большой тройки прошла на Мальте, и лишь Рузвельт склонил его принять требования Сталина. Прилетев, сэр Уинстон морщился: холодно, снег, взялся принимать согревающее.

— Ишь ты, недовольная морда! — фыркнула Истомина, угадав чувства Хозяина к толстому англичанину с длинной сигарой.

— Выразил недовольство, что государственные гимны исполнили не каждый в отдельности, а в виде попсури, — вспомнил Сталин. — Американский гимн переходил в британский, британский — в наш новый советский. А между прочим, тем самым подчёркивалось единство трёх держав в борьбе с Гитлером.

— Американский похож на “Хасбулат удалой”, — заметил фокусник.

— Точно! — хлопнула себя ладонью по коленке кухарка. — А я слышу — наша мелодия! Слямзили, прохвосты!

— Увы, если кто и слямзил, то это мы у них, — усмехнулся сапожник. — Их гимн в начале прошлого века появился, а наш “Хасбулат” — в середине.

— Тогда ладно, пусть живут, — смирилась кухарка.

Так они продолжали мило беседовать, посматривая хронику, слегка выпивая и закусывая. Когда Черчилль, Рузвельт и Сталин уселись во дворике фотографироваться, Валечка сказала:

— Наш-то орёл! Не то, что эти двое, колобок и вобла сушёная. Хотя американец ещё ничего, только уж видно, что не жилец. Какого он помер?

— Двенадцатого апреля, меньше месяца до победы не дожил, — ответил Хозяин. — Жаль, хороший был парнишка. Не думаю, что с новым будет так же просто. Рожка хитрая, как у хорька. И фамилия этакая помпезная — Трумэн. Означает: настоящий мужчина.

— Ишь ты, поди ж ты! — покачала головой Истомина. — Жалко Рузвельта. Вот так смотришь кино, человек ещё жив. А его уже нет. Товарищ Сталин, живи подольше! А?

— Постараемся, — вздохнул Сталин. — Так-то я вполне здоровый человек, вполне крепкий.

— Жену бы вам ещё хорошую подыскать, — строго заметила Валечка.

— Есть одна, на которой я бы женился, да она замужем, муж скоро с войны вернётся, герой. А я что, простой сапожник Оська. От войны увильнул. Живу на даче Сталина. Обувь не надо починить?

— Ой, да ладно вам! Только свистните, любая красотка прибежит под венец.

— Любая мне не нужна.

— Ничего, подыщем.

— Я гляжу, вам кино уже неинтересно, — обиделся Ганьшин.

— Да больно долго показывали, как все прилетали, теперь так же долго улетают, — проворчал Сталин. — Конференция одиннадцатого февраля окончилась, а Черчилль только четырнадцатого улетал. Ездил плаксиво поклониться могилам англичан, побитых нашими ещё во время Крымской войны. Ещё бы! Столько чёрной икры недоедено оставалось. Вообще, готовили для этих заморских гостей прорву всего. Жителям Крыма на целый месяц хватило бы.

— И нечего было на них тратиться! — возмутилась кухарка.

— Политика, будь она неладна, — крикнул фокусник.

— Выключай этого болтуна, Александр Сергеевич, — махнул рукой сапожник, когда Черчилль стал квакать своё прощальное слово. — Им ещё и с собой в самолёты напихали ящиками. Этот чувствительный Сталин сдуру расщедрился, а потом сам же и жалел. И зачем я ему сапоги починая! Хватит всё про войну. Давайте лучше лёгкую комедию.

И они смотрели “Сердца четырёх”. На них дохнуло довоенное время, когда о войне говорили как о чём-то возможном, но не очень ужасном, верили, что быстро разобьём любого врага. В лёгких фильмах главному зрителю нравилось, чтобы актрисы по его вкусу, а тут — Целиковская ему не очень, Серова — очень не очень. Но он видел, как смеётся Валечка, и тоже смотрел с удовольствием эту довоенную ленту, выпущенную на экраны лишь теперь, в год Победы.

Потом они малость опьянели, и когда фокусник включил “Свадьбу” лучшего чеховского экранизатора Исидора Анненского, все трое смеялись до слёз едва ли не над каждым эпизодом этой искромётной кинокомедии.

— Какой бесподобный актёрский состав! — восхищался главный зритель, хотя уже два раза смотрел картину. — Этот Грибов, этот Гарин, а какова тут Раневская! Я, когда первый раз смотрел, не сразу её узнал. Вот мастерица перевоплощений! А Марецкая! Боже ты мой! Это она, которая “Защищает Родину” и “Член правительства”, а тут такая роковая фифочка: “Что это вы, — говорит, — Эпаменонд Максимович, в меланхолии?” Всё-таки, ребята, какую исполнительскую плеяду мы воспитали в нашем советском киноделии!

Очень ему было хорошо в этот вечер, когда, наконец, пришло осознание, что долгожданная Победа наступила!

А ещё он сегодня Надю Шуткину спас на Бородинском мосту. Только это секрет, о котором никто не знает, кроме Палосича. Глядишь, завяжется переписка...

Хотелось ещё без спешки выпивать и закусьвать, болтать напропалую с кухаркой и фокусником, прикидываться простым сапожником, живущим на даче у самого Сталина, смотреть ещё что-то весёлое, да хотя бы и “Весёлых ребят” давно не смотрели, можно, валяйте, а потом чур “Большой вальс”!

И лишь бы не кончались эти вольные посиделки, начавшиеся нынче в шесть часов вечера после войны, а теперь за окнами майская полночь шелестела свежей листвой, и где-то вдалеке, в тишине мирной ночи, счастливый соловей напевал о том, что храбрые и красивые сойки навсегда изгнали из родных пределов Ближней дачи каркливых крылатых гитлеров.

Глава восемнадцатая МРАВАЛЖАМИЕР

Похищение удалось, заговорщики усадили руководителя страны на заднее сиденье автомобиля, рядом сел главарь акции, злобешего вида плешивый человек в пенсне, и приказал водителю:

— В Покровское!

Машина тронулась с места и помчалась с Васильевской в сторону Пресни.

— Какое вам Покровское! — возмутился похищенный. — Туда час езды.

— За тридцать минут домчимся, — возразило пенсне. — Я, в отличие от товарища Сталина, не езжу на иностранных автомобилях, а предпочитаю продукцию завода, носящего его имя.

— А то я не знаю, какая у тебя в “ЗИСе” начинка, — усмехнулся похищенный. — Небось, от “студебеккера”?

— Это секрет, — усмехнулось пенсне. — Не сердись, Коба. Если хочешь, мы тебя на твою Ближнюю доставим, всё равно по пути. Но в кои веки решили грузинский вечерок устроить. А? Соглашайся ко мне в Покровское.

— Это какой же грузинский? — фыркнул Сталин. — Ты — мегрел, Хорава — тоже мегрел, а я по-вашему, по-мегрельски, многие слова даже не понимаю, а когда мегрелы тараторят, я вообще не кумекаю, о чём они.

— Всё равно мы с грузинами едины, — защищалось пенсне. — И сегодня будут: ты — грузин, Калатозов, Закариадзе и Дигмелашвили — грузины, ну и, конечно, Миша со своей Верико.

— Ладно, чёрт с вами! — махнул рукой обречённый, чувствуя, что после того, как спели “Мравалжамьер”, он размяк в грузинскую сторону. — Но за полчаса не доедем.

— Я распорядился, чтобы никаких помех по дороге. За сорок минут обязательно доедем. Ну, подумаешь, какие-то сорок минут!

— Сорок минут... Если только у тебя движок действительно студебеккерровский.

— Даже мощнее. Я так рад, что ты согласился!

Сегодня, 2 февраля 1946 года в Доме кино на Васильевской улице советский кинематограф ликовал: вручали Сталинские премии сразу за три предыдущих года, поскольку в сорок четвёртом и сорок пятом Сталинку временно прижали. Премии вручал Большаков, Сталин сидел на сцене зрительного зала в президиуме и поздравлял, пожимая руки лауреатам, коих за три года набралось под сто человек.

Один из них так переволновался, что, когда начался бал, он принялся слишком прытко выплясывать, вдруг упал, и его увезла “скорая” с инфарктом.

— А нечего было ему в шаббат нарушать традиции предков, — усмехнулось пенсне, поблёскивая в тёплом салоне ЗИСа-101.

— Там таких нарушителей традиций чуть ли не треть, — ухмыльнулся похищенный. — Что-то остальные продолжали танцевать.

— Да ещё поднимут гвалт, что беденького Эйзенштейнчика отравили.

Эйзенштейн вместе с операторами Москвиным и Тиссэ, композитором Прокофьевым и артистами Черкасовым и Бирман получил Сталинку первой степени.

— Ты, Лаврентий, с иронией относишься к избранному народу, а мне кажется, без него было бы скучнее жить.

— С этим я согласен, но пусть бы их было поменьше. По переписи посмотришь — их всего ничего, а глянешь вокруг — везде они.

— А ты поезжай в колхоз на сбор урожая и там гляди вокруг, — засмеялся Сталин. — Нет, мне они по-своему нравятся, и я своего Лазаря тебе в обиду не дам. Кровавый ты палач!

— Это я-то палач? — обиделся Берия. — Да после того, что наворотили Ягода и Ежов, я — Сергей Радонежский. Ангелочек я!

Лаврентий Павлович и впрямь внешне очень походил на ангелочка. Но только в детстве и юности. Лучистые глаза, нежные чувственные губы. Всё это и сейчас в нём иногда проглядывало, но лицо давно стало неприятным, как у вороватого завскладом, да ещё это пенсне...

И его откровенно недолюбливали, забывая о многом, что сделал этот человек для страны. Став наркомом внутренних дел, он резко сократил количество репрессий, превратив террор из полноводной реки в тихую речку. Он создал мощную внешнюю разведку в Европе, США и Японии. Одновременно курировал наркоматы лесной и нефтяной промышленности, цветных металлов, речного флота. В начале войны он организовал невиданную доселе эвакуацию предприятий промышленности с запада на восток, контролировал производство самолётов, моторов, вооружения и миномётов, формирование

авиаполков и своевременную перевозку их на фронт, лично курировал угольную промышленность и пути сообщения. Берия руководил обороной Кавказа в страшном 1942 году. Назначенный главой Оперативного отдела ГКО, Лаврентий Павлович контролировал все наркоматы оборонной промышленности, транспорта, металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, целлюлозно-бумажной и электротехнической промышленности. На него легла и ракетная техника страны, а после того как американцы применили атомную бомбу, Берии поручили следить за разработкой нашего ядерного проекта.

Вот что такое был этот неприятный, похожий на вороватого завскладом человек в пенсне. А теперь он мчался в своём “ЗИСе” мимо Киевского вокзала и беседовал с похищенным Сталиным:

— А мне “Иван Грозный” ну, совсем не понравился, — сказал Берия, пользуясь тем, что между ним и Хозяином возник редкий откровенный разговор, почти задушевный. — Не понимаю, за что Эйзенштейн получил премию. Всё какое-то в плохом смысле театральное, как из немого кино. Сплошные позы да взоры. Впрочем, я уже высказывал своё мнение.

— Ты лучше скажи, “Георгий Саакадзе” намного лучше? — спросил Сталин.

— Лучше, конечно, — ответил Берия, но тяжело вздохнул. — Но ненамного. Меньше этих театральных поз. Но глаза все тоже выпучивают, как будто им в вино подсыпали жгучего перца. Помнишь там такую сцену при дворе шахиншаха?

— Конечно, помню, — тоже вздохнул Сталин. — Пока Чиаурели не слышит, можно признаться, что выше второй степени премии его “Саакадзе” не заслуживал. Но надо же было поддержать вас, грузин да мегрелов.

— Вот те на! И это говорит тот, кто сам грузин! — засмеялось пенсне.

— Я не грузин, — возразил Сталин. — Я — русский грузинского происхождения.

— Но согласишься, что “Мравалжамиер” сегодня красиво спели.

“Мравалжамиер” — грузинское “Многая лета” — сегодня хором спели во время банкета все грузины и мегрелы, да и другие знатоки пения подхватили. Тогда-то и родилась затея устроить после мероприятия грузинский вечерок, Берия подговорил компаньку, позвонил на свою дачу в Покровское и домой на Вспольный переулок, чтобы и там, и там всё подготовили как следует. После короткого банкета начались танцы, Эйзенштейн пустился лихо отплясывать с Верой Марецкой, и у него случился инфаркт, беднягу увезли, бал продолжился, а организаторы похищения совершили задуманное. Хоть он и русский, а всё-таки грузинского происхождения. Грузия ты, Грузия, сколько тебя ни закрашивай, всё равно прорвёшься, как императрица Екатерина из-под портрета бунтовщика Пугачёва. И Берия видел, какое горячее чувство отразилось в глазах Сталина, когда запели “Мравалжамиер”.

Сейчас в машине они разговаривали по-русски, таково установленное Сталиным правило: если присутствует кто-то, не знающий грузинского, говорить только по-русски, а водитель у Берии русский, Пётр Степанович.

— А почему нельзя было грузинский вечер устроить у тебя на Вспольном?

Берия уловил недовольную интонацию и тотчас приказал водителю разворачиваться.

— Вспольный так Вспольный, — сказал он. — Только там жена и сын.

— Вот и отлично! Жена и дети — самая лучшая компания. К тому же, они тоже грузины.

Берия проследил, чтобы сталинский “паккард”, везущий остальную Грузию, тоже проследовал в обратном направлении, не помчался в Покровское. Водитель вырулил на Бережковскую набережную и вскоре уже ехал по Бородинскому мосту, где в прошлом году Сталин спас девушку Надю Шуткину. Она сдержала слово, месяца через три прислала письмо, в котором сообщала о том, что уехала восстанавливать город, носящий имя Сталина, потому что всегда будет благодарна за то, что он поддержал её в самую тяжёлую минуту жизни. Но эту историю знали только он, она да Палосич. Ну, разве что ещё тот молоденький городош.

— А какие фильмы по-настоящему заслуживают премии, а не потому, что надо наградить по разным иным соображениям? — спросил Берия напрямик.

— Я бы назвал два самых сильных, — откликнулся главный зритель Советского Союза. — “Радуга” Марка Донского и “Человек номер двести семнадцать” Ромма. И это притом, что ни того, ни другого режиссёра я не слишком люблю. Особенно Ромма.

До Вспольного переуллка домчались в два счёта. Особняк, в котором Берия с женой и сыном поселился вскоре после назначения вместо Ежова, принадлежал когда-то московскому городскому голове Тарасову и славился благоустроенностью. Гостей встречала сорокалетняя жена Берии, тёмноволосая и светлоглазая Нина Гегечкори и сын Серго, изящный двадцатилетний юноша, талантливый радиотехник, ответственный за прослушку в Тегеране и Ялте и прекрасно справившийся с заданиями: разговоры Черчилля с Рузвельтом и других союзников были записаны с максимальной чёткостью.

— Спасибо за Тегеран и Ялту, — пожал ему руку главный гость.

Вскоре появилась остальная ватага, у пятерых на груди сверкали новенькие золотые медали со сталинским профилем. Сделалось шумно, Нина Теймуразовна повела гостей к уже накрытым столам. Они уже в Доме кино успели взбодриться горячительными напитками. Теперь, разместившись за столом, подняли бокалы и дружно запели вновь:

— Мра-вал-жа-ми-эээр!

И понеслись разговоры на грузинском, авторы “Георгия Саакадзе” жаждали дальнейшей славы, режиссёр Чиаурели кричал:

— Богом клянусь, готов снять и третью серию, чтобы получить третью премию!

— Да это он шутит, шутит! — испуганно перебивала его жена Верико, сыгравшая в фильме жену Саакадзе.

— Такими вещами не шутят, мы готовы третью! — спорил с ней Акакий Хорава, исполнитель роли самого Саакадзе.

Запели “Возрождающую”:

— Ой диди хо, ай диди хо!

Нино и Верико плавно пошли по залу в танце, всплёскивая руками, обе не красавицы, но вполне привлекательные, стал выплясывать Серго, его подержал Чиаурели. Выстрелами зазвучали барабаны нагара, ворвалась волянка гудаствири, заиграли гармонь и лютня пандури — это из ресторана “Арагви”, устроенного в Москве самим Берией, приехали музыканты. А на столах появились горячие блюда оттуда же — их доставил лучший московский грузинский повар Лонгиноз Стажадзе.

Сталин взирал на всё это внезапно вспыхнувшее грузинство и тосковал по Татьяне, по Кирову и Сергееву, а более всего — по кухарке и фокуснику, в компании которых гораздо охотнее бы сейчас оказался, нежели тут, среди этого мегрело-грузинского гвалта. Но не хотел обидеть соотечественников и подпевал им. Конечно же, запели бойкую “Рачули”: “Сокол сел на макушку тростникового дерева”, и он смеялся, подпевая. Потом пели протяжную “Шаво мерцхало” — “Чёрную ласточку”, не все могли вытянуть, но если чувствовали, что могут сфальшивить, замолкали, дабы не сбивать других. Когда пели окончание, старались не смотреть на главного вдовца страны:

— Возвращаться с поля брани радостно тому, кого дома ждёт верная жена. Лети, чёрная ласточка!

А он и впрямь огорчился: не ждала его дома верная жена, а та, с которой он мог бы доживать свои дни, ждала своего мужа, доблестного воина.

— Ну, раз так, давайте и “Сулико”, — мрачно произнёс вдовец, и сам же первым запел: — Сакварлис саплавс ведзебди, вер внахе дакаргулико, что означает: “Я могилу милой искал, сердце мне томила тоска”.

Все, конечно же, подхватили, но стали переглядываться друг с другом, понимая, что вечер вполне может оказаться испорчен. Старались как можно дольше тянуть печальную песню, обдумывая, что сказать, когда она отзвучит.

— Сердцу без любви нелегко, где же ты, моя Сулико? — допели, всё же, ибо и песня, как верёвочка, сколько ни вьётся, а имеет завершение. Допели и замолчали.

— Ну, что молчите? — спросил главный русский грузин. — Давайте теперь о том, что мне надо жениться на грузинке.

Все переглянулись, а Верико заиграла улыбкой и сказала:

— И то верно, товарищ Сталин (амкханаги Сталини), есть у нас на примете одна красавица-раскрасавица, и вас очень любит.

— Как любит? Как меня или как великого Сталина?

— И так, и так.

— То есть по-всякому любит? — продолжал разговор по-грузински Сталин, и все чувствовали, как надвигаются тучи. — И она, конечно же, княжна. Абашидзе? Амилахвари? Чавчавадзе? Церетели? Или, может быть, Гурамишвили?

— Да, из княжеского рода, — оробев, тихо ответила Анджапаридзе. — Разве это плохо?

— Это очень хорошо, дорогая Верико, — усмехнулся Сталин. — Да ведь я-то из простых сапожников. Каких только мне происхождений ни придумали! Даже что я якобы двоюродный брат последнего царя. Мало того, я слышал, мне в отцы Пржевальского приписывают. Лишь бы только я не был простого происхождения.

— Бог с ней, с невестой, давайте выпьем и spoём весёлое! — попытался спасти ситуацию хозяин дома.

— Погоди, Лаврентий, это очень важно, — сверкнул в его сторону Сталин. — Никак не перестанут грузины кичиться своими княжескими родами. Мишико! — обратился он к Чиаурели. — Ты о чём кино снимал? О том, как князья мешали Саакадзе построить единую и неделимую Грузию? Ведь так?

— Так, товарищ Сталин, — уныло ответил режиссёр.

— Но твоя красавица жена гордится, что она из знатного рода Анджапаридзе. Не пугайся, Верико, я не зпось. Просто хочу разобраться, зачем мы делали революцию. Мы, как Иван Грозный и Пётр Великий, затеяли отмену родовых привилегий, чтобы человек славился по своим заслугам, а не по заслугам предков. Саакадзе был великий полководец, а ему тыкали в нос незнатное происхождение. А кстати, так ли он был хорош, если привёл за собой персов усмирять и объединять Грузию? Вы только представьте, что Тухачевский затеял меня арестовать, а я сумел бежать, как Саакадзе, поехал к Гитлеру и привёл немцев. Разве я был бы герой? Нет, чистой воды предатель.

— Но ведь в этом и есть главный и самый страшный конфликт фильма, — пытался защитить режиссёра Закариадзе, сыгравший заклятого врага главного героя фильма. — И потом Саакадзе бросается в бой против персов, и шахиншах присылает ему отрубленную голову сына, оставшегося в Персии заложником.

— Да, с отрубленной головой — самые сильные кадры, — кивнул Сталин. Поник головой и тихо добавил: — Мне даже голову Якова немцы не прислали. — Снова заговорил громко: — Если бы не сцена, когда все танцуют, а у Саакадзе и его жены страшное горе, картина бы много проиграла. Эта сцена и убедила меня в том, что работа заслуживает самой высокой премии. До этого я склонялся к тому, чтобы дать одну из первых степеней Ромму за “Человека номер двести семнадцать”. Но в итоге эта сильная картина получила премию второй степени.

— Да, очень сильная работа у Ромма, — согласился Чиаурели.

— Как там прекрасна Кузьмина в главной роли, — добавил Хорава. — Какие глаза!

— А ведь Ромм в своей работе затронул один из важнейших вопросов человечества, — продолжал говорить Сталин. — Рабство. Вы уж извините, что я стал занудствовать. Но тут собрались не певцы, а создатели кинематографа. Подчеркну: не грузинского, а советского кинематографа. Так вот. Рабство. Оказалось, что тяга человечества к рабовладению отнюдь не испарилась. Стоило гитлеровцам начать привозить в Германию рабов из России, как тотчас нашлась масса желающих этих рабов использовать. Где же марксистская логика? Рабовладельческий строй, казалось бы, канул в пучину истории, но и при феодализме огромное количество рабов было. Думаете, Саакадзе не имел рабов? Имел. Все имели. И на Руси. А крепостное право?

А рабы в Америке в прошлом веке? Там причём не только негры были рабами, но даже ирландцы! Это при капитализме. А оказалось, что и при гитлеровском национал-социализме тоже. Как ни крути, но Гитлер строил социализм, хоть и с националистической мордой. Страшно даже представить, чтобы было бы, если б мы сейчас вывозили из Германии людей и продавали их в рабство советским людям! Думаете, не нашлось бы покупателей?

— Да, действительно, об этом страшно подумать, — мрачно произнёс Берия.

— Верико, ты купила бы себе парочку рабынь, чтобы помогли тебе по дому? — повернулся Сталин к Анджапаридзе.

— Упаси Боже! — мгновенно воскликнула артистка.

— Тебе я верю, — усмехнулся разрушитель славного и доброго грузинского вечерка. — А ты, Нино?

— Конечно, нет! — возмущённо вспыхнула хозяйка дома.

— Но ведь особняк у вас немаленький, — возразил главный гость. — Вот бы десяток крепостных...

— О чём ты говоришь, Коба! — возмутился Лаврентий Павлович. — У нас есть прислуга. Она занимает несколько помещений. Но мы ей платим. Как и ты у себя на Ближней даче. Разве у тебя там рабы?

— Но если бы и была возможность держать рабов, я бы ни за что не пошёл на такое безобразие.

— И я. И все мы.

— Конечно, мы тоже никогда бы, о чём речь! — пылко загомонили собравшиеся.

Музыканты и повара с недоумением смотрели и слушали, мол, зачем нас сюда вызвали-то!

— А немцы охотно стали рабовладельцами, вот что страшнее всего, — продолжал Иосиф Виссарионович. — Страшно, что есть добропорядочное и хорошее человечество. Но как только какая-то сволочь говорит: “Можно!” — какая-то часть этого доброго человечества оказывается способна убивать, бесчестить, издеваться над покорёнными, иметь рабов и мучить их. И причём делает это с сатанинским наслаждением. И мы тоже... — Он запнулся. — Когда проводили в стране великую чистку. Сколько нашлось мерзавцев, истязавших людей, получая от этого удовольствие. Если эта страшная, чудовищная чистка, ответственность за которую я целиком беру на себя, не свершилась бы, то неизвестно, смогли бы мы одолеть самого сильного и лютого зверя.

— Я предлагаю тост за нашего великого вождя! — воскликнула Верико.

— Разве женщинам дозволяется произносить тосты, пока их не произнесли мужчины? — спросил её Сталин.

— А разве мы не для того делали революцию, чтобы женщина имела равные права с мужчиной? — смело выпалила актриса.

— Для того, — усмехнулся Сталин. — Молодец, Верико! Люблю смелых. Кто красив, тот и смел, говорит грузинская поговорка. А я бы добавил: кто смел, тот и красив. Благодарю за твою здравицу, Верико!

Все облегчённо вздохнули, пылко осушили бокалы, и Берия первым грохнул свой об пол, за ним — остальные.

— Жужуна цвима мовида... — громко запел Лаврентий Павлович любимую песню Сталина, но Сталин остановил его:

— Погоди, друг. Потом споёте, когда я уеду. Мне что-то не поётся сегодня. Не хочу портить ваш грузинский вечерок. Но хочу ещё кое-что сказать. Вот ты, Мишико, заявил, что готов и третью серию снять. Что ж, это было бы интересно. Как известно, стремясь к объединению Грузии, Саакадзе сражался против кахетинского царя Теймураза, который, кстати, из рода Багратионов. Шах Аббас поставил Теймураза царём Картли и Кахетии, и, таким образом, Теймураз объединил самые большие земли Грузии. А Моурави Георгий Саакадзе хотел сам править над всей Грузией и воевал против Теймураза. Как ты это покажешь в кино? Примерно в моём возрасте, ну, чуть помоложе, Саакадзе перешёл на сей раз в услужение к туркам, получил во владение огромную область. За это он разгромил многих, кто мешал султану, и опять пришёл бы в Грузию, но теперь с войском османов. Что скажет

зритель? Что великий грузинский герой служил и нашим, и вашим? Как говорит моя экономка, — Сталин перешёл на русский: — и конным, и пешим.

Все стыдливо опустили глаза, и даже золотые медальки на груди у лауреатов на некоторое время как будто потускнели. А занудный нарушитель веселья продолжал, вновь перейдя на грузинский:

— В итоге Георгия Саакадзе, когда он слишком возвысился в Османской империи, турки же и убили. Нет, Мишико, не получается тут третья серия. Нужно другое кино. Мне очень не понравилось, как в твоей картине показаны русские послы. Глупые, карикатурные, смешные. Три столетия после падения Византии Грузия разрывалась между Турцией и Персией, покуда не нашла своё спасение в России. Картли-Кахетинский царь Ираклий отдал Грузию под покровительство императрицы Екатерины Великой. И правильно сделал. Потерял самостоятельность? Частично да. Но приобрёл спокойствие. Грузия расцвела под рукой России. Вы, конечно, знаете, как я в юности читал книгу Казбеги “Отцеубийца”. Даже взял себе имя одного из героев в качестве псевдонима.

— Коба, — тихо проговорила Вера Ивлиановна.

— Да, Верико, Коба, — улыбнулся ей Сталин. — Но в той повести Александр Казбеги крайне несправедлив, когда пишет, что грузины легко справились с турками и персами, а когда отдали себя во власть России, превратились в угнетённый народ. Это и есть мелкопоместное шовинистическое грузинское мышление. Правильность выбора Ираклия, заключившего Георгиевский трактат, нашла своё воплощение в том, что сейчас во главе самой России стоит один маленький и безродный, но довольно сильный грузин. Предлагаю выпить за Россию!

— И за сильного грузина! — воскликнул доселе молчавший оператор Дигмелов, настоящая фамилия — Дигмелашвили.

Все дружно выпили, радуясь, что тучи, кажется, развеялись, и снова запели громко и тягуче:

— Мра-а-авалжа-а-амие-е-ер!

И под это громкое пение он стал прощаться, пожимать всем руки, уходить. Он спускался по лестнице к гардеробу, а они шли за ним и пели грузинское многолетие. Серго помогал ему надеть глухую шинель без каких-либо знаков отличия, и Иосиф Виссарионович сказал ему по-русски:

— Славный ты паренёк, Серго. Светка моя на тебя школьницей заглядывалась. Надо было вас тогда и обручить.

Его продолжали провожать с нескончаемым пением “Мравалжамиер” до самой машины, разгорячённые, стояли на морозе и пели, покуда он садился на своё откидное жёсткое сиденье за спиной у водителя.

— Поехали, Палосич, — с облегчением возвращался Сталин в русскую речь, махая оставшимся. Теперь уж они развернутся во всю прыть, быстро восстановят подпорченный им грузинский вечер. — Ты покушал?

— Изрядно вкусил! — с восторгом отозвался водитель, выезжая с Малой Никитской на Садовое кольцо. — Каких только ваши грузины кушаний не изобрели, мать честная! Рулетики из баклажанов — вкуснотища!

— Они называются бадриджани, — улыбнулся пассажир, словно вернувшись из заграничной поездки, где выучил наименования главных традиционных блюд экзотической страны.

— Мясо тоже... Вроде бы, как обычно, тушёное, но как-то особенно.

— Чашушули.

— И ещё другое, которое со сливами.

— Чакапули. Баранина в белом вине.

— А ещё я впервые пробовал. Внешне неприглядное. Похоже на наш гриб строчок. А оказалось сладчайшее.

— Чири. Вяленая хурма. Ты, Павел Иосифович, как будто ни разу в жизни со мной в Грузию не ездил.

— Ездил. Но, оказывается, даже не всё перепробовал. На Ближнюю?

— Разумеется.

Продолжая беседовать с милым Палосичем, он думал о том, как странно, что грузины перестали восприниматься им в качестве родных соотечест-

венников, и даже язык, в который он поначалу так сладко окунулся, довольно быстро утомил его, а некоторые слова он и вовсе забыл, и боялся опростоволоситься. Зато теперь, разговаривая по-русски, он чувствовал то же, что затёкшая рука, в которую возвращается горячая кровь. Воистину странно это!

— Эх, надо было Ганьшину ещё от Берии позвонить, не догадался! — вспомнил он.

— Ничего, с Ближней звякнем, я быстро за ним сгоняю, — пообещал водитель. — А Валентина Васильевна просила передать, что полковник вернулся, она всё, что нужно, приготовила и уехала к нему.

— Да, я заранее разрешил ей, что как только муж вернётся из командировки, чтобы она не спрашивала разрешения и сразу ехала к нему, — ответил пассажир спокойно, но в сердце кольнуло. Не будет сегодня любимой Валечки.

Иван Арсеньевич с фронта возвратился в прошлом году в августе. Когда Валентина Васильевна сообщила об этом Сталину, тот пригласил полковника Истомина поужинать на Ближней даче. Приглашённый вёл себя с мрачноватой сдержанностью и немного расслабился лишь после того, как Хозяин произнёс:

— Предлагаю выпить за Валентину Васильевну. Товарищ Истомин, ваша жена — золото. Верная и надёжная жена. Как в одном фильме доказывается, что именно на таких верных жёнах всё держится. “Жди меня, и я вернусь”, — написал поэт Симонов. Она ждала вас, и вы вернулись. Можете, как никто другой, верить своей жене. В ваше отсутствие, чтобы не мотаться туда-сюда, я уговорил её жить здесь. Но она для меня как добрая и заботливая дочь, и если кто-то скажет вам тайком плохое о ней, разрешаю сразу бить в морду. Она показала, что такое настоящая русская женщина. Верная и надёжная. Поздравляю вас!

Но то, что отныне Валечка вновь уезжала вечером домой к мужу, огорчало. Словно передний зуб выпал. Можно было, конечно, Ивана Арсеньевича ещё и на Дальний Восток отправить япошек бить, хоть немного Валечка ещё пожила бы на Ближней, но это Сталин съёл свинством и оставил полковника Истомина в Москве, позаботился, чтобы дали квартиру лучше прежней, а в Наркомате обороны — хорошую должность в отделе, занимающем розыском сведений о погибших во время войны.

Вскоре Наркомат обороны предполагалось переименовать в Министерством вооружённых сил. Всё будет переведено в министерский статус. Даже Комитет по делам кинематографии главный зритель твёрдо решил возвысить до уровня министерства, а Большакова назначить первым в мировой истории министром кино! Молодец Иван Григорьевич, добился того, что в годы войны его ведомство не зачахло, а, наоборот, выдало сильную продукцию. Жаль, что мало приходится с ним общаться, умный парень, начитанный, образованный, собеседник отменный. Но его прочно заменил Ганьшин, который оставался при Хозяине в самые тяжёлые дни осени сорок первого. И Ганьшин — простой киномеханик, не облечённый никакими чинами и не дрожащий за их сохранение. Уволят? А кто ещё так надёжно станет крутить киношку и так раскованно, но при этом без наглости, беседовать с главным зрителем? Один только раз Сталин крикнул ему “сапожника”, да и то Александр Сергеевич нарочно тогда подстроил поломку.

Едва приехали на Ближнюю, встречавший Хозяина верный Власик отзвонился Ганьшину, но тот не подходил к телефону. Вот ещё! Ни кухарки, ни фокусника.

— Звоните каждые пять минут, — приказал главный дачник сердитым голосом и отправился в свой кабинет. В томительном ожидании чего бы то ни было самое лучшее — заняться насущными делами, и Иосиф Виссарионович принялся разбирать бумаги, касающиеся как раз министерской реформы. Прощайте, комиссариаты всех и всяческих дел! Прощай и ты, великий и могучий Совнарком, созданный аж 27 октября 1917 года, сразу после революции! Скоро тебя заменит Совет Министров СССР. Звучит? Звучит.

— Но где там, шени, этот киномеханик? — возмутился главный зритель, используя словечко, прилетевшее с их грузинского вечера и юркнувшее

в открытую форточку. Оно значит всего лишь “твою”. Половинка ругательства “твою мать!” — “шени дэда”. А что именно твою мать, это мы уже не скажем, потому что не ругаемся матом ни по-грузински, ни по-русски.

Полтора часа прошло с тех пор, как Хозяин вернулся в свою берлогу, а Власик до Ганьшина так и не дозвонился.

— Если дозвонитесь, пусть приготовит что-нибудь серьёзное, — приказал Хозяин строго. — Я нынче не расположен смотреть развлекашки.

Но часы уже показывали два ночи, а телефон в квартире у Александра Сергеевича молчал, и сапожник не на шутку огорчился: вдруг что случилось? Потерять сразу кухарку и фокусника ему не под силу. Жив ли ты, тёзка Пушкина?

— Дозвонился! — сообщил Власик. — Велел привезти серьёзное. Палосича отправил за ним.

— Спасибо, Николай Сидорович, отдохайте, — тепло ответил Иосиф Виссарионович и подумал: “Мадлоба гхмерте!” Фу ты, привязался грузинский! Не мадлоба гхмерте, а — слава богу!

Но Палосича с Ганьшиным всё не было и не было. Уже и дела осточертело разбирать. Да и спать через пару часов.

Лишь в начале четвёртого соизволил появиться с брезентовыми мешками, в которых яуфы — алюминиевые ящики для киношных катушек.

— Александр Сергеевич, да вы пьяны! — вдруг сделал открытие главный зритель. — Как это вы? Что за безобразие!

— Отца поминал, — ответил Ганьшин, вообще-то малопьющий. — Отец у меня помер.

Личная жизнь фокусника неприятным холодом проникла за воротник, стало неуютно. Хозяин нарочно отказывался знать хотя бы что-нибудь о том, как живёт Ганьшин. Не должен простой человек интересоваться личной жизнью фокусников. В этой причуде Сталин ощущал некую прелесть.

— Отец у него! — проворчал он. — Ну, помянул маленечко, и хватит. Зачем же было так напиваться?

Вдруг Ганьшин как-то неприятно глянул на Хозяина. Казалось, он сейчас рявкнет: “Ты чо, дядя! Не охренел ли?” И Сталин даже испугался ледяного взгляда своего кинослуги.

— Кино-то сможешь крутить, Александр Сергеевич? — примирительно спросил он.

— Смогу, ё... — вырвалось у Ганьшина. — Я и спящий смогу крутить его, будь оно неладно.

— А что это за “ё” такое? Разве вы материтесь?

— Случается, товарищ Сталин. — Ганьшин пьяно, но при этом вполне уверенно подключал “Симплекс”.

— Не надо. Я никогда не матерюсь. Мат — это сквернословие. То есть осквернение человека словами. Лев Толстой, дурак, матерился, думая, что так будет ближе к мужику.

— Вы уже мне это говорили.

— Прошу не хамить! — резко повысил голос Сталин.

И вдруг он отчётливо увидел, как Ганьшин поминает отца, может быть, плачет или вспоминает об отце что-то хорошее, сокровенное, а тут ему звонят: срочно ехать! И конечно, опечаленный сын если и не произнёс вслух бранное слово, то непременно подумал: чтоб тебя, чёрта усатого!

— Простите, — буркнул Ганьшин.

— Хорошо. Что будем смотреть с вами?

— Вы просили серьёзное. Я привёз картину “Гражданин Кейн”. Американского режиссёра Орсона Вуллса... Уэллса, — с трудом выговаривал слова пьяный механик.

— Чем же эта фильма так хороша?

— Я бы сказал: всем. Она виртуозно снята. И ещё. Её снял наш человек. Противник буржуев. — Ганьшин говорил трезвые вещи, но при этом выглядел смешно, как всякий пьяный, старающийся изо всех сил казаться трезвым.

— Что, режиссёр коммунист? — спросил сапожник.

— По своему духу — да, — кивнул фокусник. — Прототип его героя — всемогущий Хёрст.

— Этот беспринципный подонок? Который в своих газетах поддерживал Гитлера?

— Он самый. Как только Уэллс сделал картину, Хёрст развернул против него травлю. Фильма получила премию Оскара, а Хёрст добился того, чтобы владельцы самых крупных сетей кинотеатров запретили показ. И картина шла только на задворках.

— Силён собака Хёрст! Теперь я понимаю, почему среди картин, которые к нам приходили из Америки, этой не было.

— Эта копия досталась нам в Германии в качестве трофеейной. Только что сделали русские субтитры.

— Включайте, товарищ фокусник, — дал отмашку сапожник.

И они стали смотреть этот причудливый фильм, в котором режиссёр сам исполняет главную роль медиамагната Кейна от юности до старости, да так, что изменения в его облике не кажутся фальшивыми. Началось с того, как под зловещую музыку губы Кейна произносят слова: “Розовый бутон”, а из руки выпадает стеклянный шар с заключённым в нём заснеженным домиком и разбивается об пол. Это смерть. Со смерти главного героя начинается завязка. Почему предсмертными словами стали эти два — “Розовый бутон”? Для экспозиции использована ретроспекция жизни Кейна, мастерски выполненная имитация кинохроники, словно снятой в разные годы. В одном из эпизодов Кейн стоит на одном балконе с Гитлером, и главный зритель издал возглас:

— Ух ты! — И подумал, что междометия значат всё, а он давно уже восклицает во всех случаях по-русски, а не по-грузински, не кричит “вай мэ!” или “жожокхети!”, “вин!” или “ау!” Он давно стал русским. И само это слово не истёрлось среди всего советского, и враги наши, а также липовые союзники не называли жителей СССР советскими, только русскими. А как все удивились, когда в прошлом году на банкете в Георгиевском зале Кремля, устроенном в честь командующих войсками Красной армии, Верховный главнокомандующий встал с бокалом в руке и произнёс:

— Я как представитель нашего Советского правительства хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны...

И никто не крикнул, что это шовинизм, все громко рукоплескали и кричали “ура”. Приятно вспомнить.

Фильм продолжался, журналисты, просмотрев ролик кинохроники, решают, что нужен необычный угол освещения жизни Кейна, и наталкиваются мыслью на его последние слова, в которых умирающие так часто выдают какую-то сокровенную тайну. Что за “розовый бутон”, сорвавшийся с губ Кейна в последнюю секунду? И журналист Томпсон начинает расследование, встречается со всеми, кто близко знал Кейна, чтобы найти этот бутон. На этом и строится весь дальнейший сюжет.

Последние слова. Как часто он задумывался о том, что сам скажет в роковое мгновение, какое его заветное слово?

— Ваш тёзка перед смертью сказал: “Мне надо навести порядок в своём доме”, — произнёс он, задумчиво раскуривая трубку. — Имея в виду семейные обстоятельства. Но Пушкин был гений огромного масштаба и думал не только себе и семье, но и о порядке в России.

— Пожалуй, да, — ответил Александр Сергеевич. — А что сказал перед смертью Владимир Ильич Ленин?

— Ленин? — вскинулся Иосиф Виссарионович. — Хм... Он только мычал. Но моя покойная жена говорила, собака принесла ему мёртвую птицу, и он сказал: “Вот собака!” Сразу после этого его хватил последний удар, и он утратил дар речи.

— Какие-то сволочи распустили слухи, будто у него был сифилис, — сорвалось с пьяного языка Ганьшина.

— Враньё! Я досконально всё изучил, — возразил Сталин. — Профессор Россоломо однажды предположил, что у Владимира Ильича возможны сифилитические изменения мозга, имея в виду изменения, подобные сифилитическим. А кто-то из слышавших это превратил медицинскую гипотезу в мерзкую клевету.

— Скорее всего, Троцкий, — предположил фокусник, явно желая сделать приятное сапожнику. Он начинал трезветь. Виновато посмотрел на собеседника и сказал: — Товарищ Сталин, вы извините меня, но мне товарищ Власик по телефону сказал: “Товарищ Сталин будет у товарища Берии в гостях, и, скорее всего, твои услуги не понадобятся”.

— Услуги!.. — сердито фыркнул главный зритель. И вдруг почувствовал жгучий стыд. Как это так! Он, строитель первого в мире государства равноправных людей, имеет под рукой слуг, готовых по первому мановению явиться и оказывать услуги! И у них вся личная жизнь в напряжении. Ляжешь с женой в кровать, а тебе звонят: “Срочно!” Сядешь поминать умершего отца, не дадут, потому что господин хозяин требует к себе. Они — как крепостные! И ради этого мы делали революцию?!

— Я приношу свои извинения, Александр Сергеевич, что по моему приказу тебя вырвали и притащили сюда. Постараюсь впредь договариваться с вами заранее.

— Да вы что, товарищ Сталин! Какие могут быть извинения? Моя работа такая, что... Я даже не имею права обижаться.

— Вот видите. Даже не имеете такого простого человеческого права, как обижаться. Не имеете права отказаться. Не имеете права говорить мне “ты”. В то время как я называю вас то на “вы”, то на “ты”.

— Кто вы, а кто я, товарищ Сталин! — усмехнулся Ганьшин.

— Сталин? — тоже усмехнулся Сталин. — Да он сейчас у Берии на грузинском междусобойчике. Какое словцо — “междусобойчик”! Не удивлюсь, если его придумал Чехов. Сталин сейчас там по-грузински калякает и песни грузинские поёт. А мы тут с вами тайком кино крутим. И плевать нам на товарища Сталина.

— Попробовал бы кто при мне такое сказать! — фыркнул Ганьшин.

— Донесли бы?

— Уж морду бы точно набил!

— Вот и набейте мне. Я же не Сталин, а всего лишь сапожник Иосиф Джугашвили.

На лице у киномеханика нарисовалось страшное недоумение.

— Шучу, — сказал главный зритель. — В грузинском языке нет ни “ты”, ни “вы”, есть только одно обращение “шен”. Хорошо ли это?

— Вон у этих, — киномеханик кивнул в сторону экрана, — в английском “вы” тоже нету, все говорят друг другу “ю” — “ты”.

— “Ю” — это по-английски “вы”, — возразил сапожник, разбирающийся в особенностях разных языков. — Обращение на “ты” у них тоже существовало, только исчезло. Но к Богу они обращаются на “ты”. Потому что Бог — самое родное у человека. Самое близкое и задушевное.

— Хорошо, что товарищ Сталин не слышит этих слов, — улыбнулся Ганьшин.

— Он бы не возражал против них, — сказал Сталин.

— Вы думаете?

— Уверен. А знаешь, друг мой, какие последние слова произнёс Карл Маркс?

— К сожалению, нет, товарищ... Джугашвили.

— Он сказал: “Последние слова нужны глухцам, не успевшим при жизни сказать всё, что надо”.

— Лихо!

— Боже, какие замечательные кадры у этого американского режиссёра! — восхитился главный зритель операторской работой Орсона Уэллса. Шла ретроспекция, на переднем плане взрослые люди обсуждали дальнейшую судьбу Кейна, а он, ещё мальчик, на дальнем плане катался со снежной

горки на санках, лепил и кидал снежки, полностью наслаждался жизнью, не ведая, что она ему уготовит.

— Да, он использовал какую-то особую фокусировку кадра, — согласился уже изрядно протрезвевший кинемеханик.

Сцена, когда мальчика отнимают у родителей, сильно увлекла Иосифа Виссарионовича. После препирательств маленький Чарльз Кейн ударил санками приехавшего за ним мистера Тетчера.

— Молодец парнишка! — воскликнул Сталин.

— Санками! — воскликнул Ганьшин, будто подсказывая ему что-то. И в следующем кадре брошенные санки заносил и заносил густой снег.

— В них кроется тайна? Снег заносит их, словно тайной, — задумался проницательный зритель. — Когда-нибудь и товарища Сталина занесёт снегом клеветы, но придёт весна и растопит этот снег.

— Не может быть! Кто посмеет клеветать на Сталина? — удивился фокусник.

— Найдутся, — вытряхивая из трубки пепел, уверенно произнёс сапожник.

— Если и так, весна обязательно наступит, — задумчиво произнёс Александр Сергеевич.

— Интересно, почему именно сегодня мы смотрим эту фильму? Товарищ фокусник, что за послание вы привезли мне?

— Просто получили копию с субтитрами, и мне не терпелось показать вам этот шедевр.

— Всё, что просто, — не просто; всё, что случайно, — отнюдь не случайно, друг мой.

Некоторое время они молча смотрели за развитием сюжета. Мальчик Чарльз вырос, превратился в успешного издателя газет. Молодой Кейн — само обаяние, с таким хочется задружиться, он печатает самые смелые статьи, выступает яростным защитником неимущих и обрастает врагами, завистниками и конкурентами, провозглашающими филантропию неразумным явлением. Поставленный на грань краха, Кейн позволяет себе пускать газетные утки и постепенно увлекается приёмами жёлтой прессы. Он начинает стремительно богатеть и не замечает, как с прямого проспекта правды свернул в кривые переулки лжи. Его газеты начинают вторгаться в политику, и даже американо-испанская война, благодаря которой США отобрали у Испании Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины, оказывается возможной из-за вмешательства хлестких статей газет Кейна.

— Он не был жестоким, но совершал жестокие вещи, — отозвался о Кейне его бывший лучший друг Лиланд, и, услышав эти слова с экрана, Сталин вздрогнул. Сказано про него! И ещё Лиланд произнёс, что самое страшное наказание для человека — это его память. Лиланд продолжал сыпать афоризмами, ложившимися в сознание. Кейн женился на племяннице президента, и уже через несколько месяцев, по словам Лиланда, они встречались только за завтраком. Это кольнуло: не очень часто сам Сталин проводил время с женой! Череду завтраков Кейна с женой — каждый раз их отношения всё отчуждённее и отчуждённее. “Газета — твоя единственная соперница, дорогая”, — произносит Кейн. Когда-то и он ответил Татьяне: “Если ты и можешь меня ревновать, то только к великой большевистской идее!” Жена сетует на то, что Кейн критикует её дядю: “Дорогой, президент он, а не ты”, — и Кейн эффектно отвечает: “Эта ошибка будет исправлена”. В другом эпизоде: “Но, Чарльз, люди подумают...” — “То, что я им скажу!” А в последнем показанном завтраке они и вовсе сидят далеко друг от друга на разных концах стола и молча читают газеты.

— Чарли Кейн любил только Чарли Кейна, — говорит Лиланд. — И он очень хотел, чтобы его полюбил весь мир.

Этот американец разворошил душу главного зрителя, а картина дошла лишь до середины. Кейн случайно на улице знакомится с девушкой Сьюзен, у которой болит зуб, а она приглашает его к себе домой умыться, потому что его с ног до головы обрызгал проехавший фаэтон. Он веселит её, показывая на стене всякие тени, и выясняется, что она не знает, кто такой Кейн. Его

трогает то, что он нравится ей не своим успехом, богатством и славой, а просто как человек.

— Мы оба одиноки, потому что у вас нет друзей, а у меня их слишком много, — говорит Кейн.

Оказывается, что его родители уже умерли, а накануне знакомства он побывал на складах и нашёл вещи, некогда принадлежавшие его семье. Сентиментальный вечер приводит к тому, что Кейн начинает тайно встречаться с Сюзен и находит с ней своё счастье.

Главный зритель никогда бы и не смог тайно встречаться с любовницей на её квартире. У него вообще отсутствовала тайная жизнь. Даже если бы он захотел её иметь, хотя бы Власика пришлось бы в неё посвящать. Но пока жила Татка, он и не нуждался в тайной жизни. А после её смерти лишь мечтал о чём-то таком, прекрасно зная, что не сможет забыть и предать свою Надежду.

— Бедный я, бедный! — тихо прошептал он.

— Что вы сказали? — спросил Ганьшин.

— Жаль мне этого Кейна, — ответил Сталин.

— Он сам выбрал свою судьбу, — произнёс киномеханик.

С середины фильма Кейн, как на санках, катился вниз и вниз. Уйдя от жены к Сюзен, построил для неё, весьма посредственной певички, целый огромный театр в Чикаго и всех заставлял писать хвалебные статьи, хотя всем сводило скулы, когда она пела. Первая жена и сын погибли в автокатастрофе, а Сюзен, понимая, что бездарна и все лишь смеются над ней, пытается покончить с собой, а потом уходит от Кейна из построенного им гигантского замка Ксанаду. Он приходит к осознанию, что не всё можно купить, остаётся один, стареет и умирает в полнейшем одиночестве.

Уточняя у слуги, что тот думает по поводу предсмертных слов Кейна, Томпсон слышит в ответ:

— Он произносил много ничего не значащих фраз.

— Вот это уж точно камень не в мой огород, — усмехнулся главный зритель.

Приближался финал, люди сортировали несметные богатства Кейна, откладывали ценности, а всякий ненужный хлам сжигали.

— Вот теперь смотрите, какой фокус! — с восторгом произнёс фокусник. — Никто так и не узнал, что значит “розовый бутон”. И только мы, зрители, узнаем тайну в самом финальном кадре. Не догадываетесь?

— Нет, — сердито буркнул сапожник.

— Смотрите внимательно, ещё немного осталось.

Камера проплывала над бесчисленным количеством ящиков, статуй, огромных ваз, глобусов, кресел, рыцарей в доспехах... И вдруг среди хлама главный зритель увидел главный предмет и воскликнул:

— Санки!

— Точно! — обрадовался Ганьшин. — Догадались?

— Да, но не совсем.

Один из рабочих, отбирающих хлам, взял эти санки и бросил в огонь. Камера приблизилась и, прежде чем пламя пожрало санки, зритель успел увидеть, что на них нарисована раскрывающаяся роза, а над ней надпись: “Розовый бутон”.

— Ах, вот оно что! — потрясённо воскликнул Сталин. — Действительно фокус. Стало быть, он всю жизнь помнил то счастливое катание с горки. Которое внезапно окончилось. И жизнь его пошла наперекосяк. В середине фильма этот Кейн произносит: “Есть что-то, за что я отдал бы всё богатство”. Как этого режиссёра?

— Орсон Уэллс.

— Я хотел бы с ним встретиться и поговорить. Не знаете, сколько ему лет?

— Тридцать с чем-то.

— Не коммунист?

— Нет, но, как пишут в газетах, в последнее время его сильно травят, обвиняя в симпатиях к коммунизму.

— Должно быть, Хёрст сильно старается. Он-то, в отличие от Кейна, ещё жив. Кстати, Кейн куда благороднее своего прототипа.

Часы показывали около шести утра. Как только лента покинула механизм и с шелестом ушла в свою катушку, киномеханик снова заметно опьянел, расслабившись.

— Как думаете, Александр Сергеевич, Сталин скоро вернётся от Берии? — спросил Сталин.

— Полагаю, Николай Сидорович нас предупредит, — ответил Ганьшин.

— Тогда давайте помянем вашего отца. Если свалитесь с копыт, я попрошу этого Сталина постелить вам в его кабинете. Наливайте себе сами, чего хотите. Упокой, Господи, душу усопшего раба Божьего Сергея. — Он встал и пропел “Вечную память”, затем, не чокаясь, выпил красного вина. Ганьшин выпил того же. — Не сердитесь, что Власик вас вызвал. Зато вы помянули родителя своего и дома, и тут.

— Не имею права сердиться.

— Имеете! Исполнять свои обязанности обязаны, но сердиться имеете право.

Они сели, и сапожник стал наливать себе и фокуснику, они пили и закусывали истоминскими пирожками и котлетками, уже холодными, но удивительно вкусными.

— А какие слова произнёс ваш отец перед смертью? — спросил сапожник.

— О, это был удивительно вежливый человек, — ответил фокусник. — Он вернулся домой с работы, щемило сердце. Сел за стол. Мама стала подавать ужин, что-то ему рассказывать, а он внезапно: “Прости, дорогая, что перебиваю тебя, но я, кажется, умер”. И упал со стула на пол. Уже мёртвый.

— Это удивительная смерть! — восхитился сапожник. — Я бы сам хотел так умереть. Но кому я скажу: “Прости, дорогая”?

— Для этого надо жениться, чтобы в последний час жена оказалась рядом, — резонно ответил фокусник. — Вот моя...

— Не надо, Александр Сергеевич, — остановил его сапожник Иосиф. — Наверное, я узнал самое главное о вашей жизни. Что у вас был такой прекрасный отец. Хотите, я спою вам песню, которую Сталин сейчас будет петь в гостях у замечательного человека Лаврентия Павловича Берии?

— Я бы очень хотел послушать, что он там запоёт.

— Это по-грузински. Означает: “Дождик прошёл, всё расцвело, а если кто о нас скажет плохое, пусть сам себе на четыре части разрежет сердце”.

— Ух ты, как! — подивился фокусник Александр, вновь пьянея на глазах.

— Ну, или так, — развёл руками сапожник Иосиф и запел: — Жужу-на цвима мовида, диди миндори данаба. Данаба, данаба, данаба, диди миндори данаба, — но не так, как на грузинском междусобойчике громко начинал петь Берия, а тихо, задушевно, ласково, как поют малышу, чтобы тот уснул. И у фокусника стали слипаться глаза. Сапожник допел про дождик и так же тихо протянул долгое:

— Мрааа-вааа-лжааа-ми-ээээр!

Фокусник уснул, положив щеку на ладонь, а локоть уперев в стол. Допев многолетие, сапожник тихо сказал:

— Отец у него, видите ли, помер. Сколько тебе лет, Саша? В сыны мне годишься. Буду я тебе вместо отца.

Он вышел в прихожую, где, сидя за письменным столом, негромко и смешно храпел Власик. “Уйди, уйди!” — слышалось в его храпе. Хозяин осторожно разбудил его и попросил постелить Ганьшину на диване в Большой столовой. Потом вернулся в Малую столовую, громко хлопнул в ладоши, и Ганьшин мгновенно проснулся.

— Подъём! — скомандовал Хозяин. — Товарищ Сталин вернулся из гостей. Время — половина седьмого. Все идём спать.

(Окончание следует)